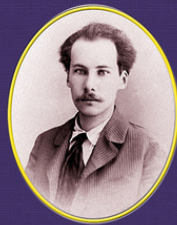


Андрей
Белый

Сочинения



Симфонии

Андрей Белый
Кубок метелей

«Public Domain»

1907

Белый А.

Кубок метелей / А. Белый — «Public Domain»,
1907 — (Симфонии)

«Метель выдувала с крыш бледные вихри. Прыснули вверх снега и, как лилии, закачались над городом. Певучие ленты серебра налетали – пролетали, обволакивали. Сталкивались, дробясь снегом...»

Содержание

Вместо предисловия	6
Часть первая	8
Метель	8
Город	9
Жемчуг в алом	10
Бархатная лапа	12
Бусы и бисер	15
Мед снежный	17
В пене белой	21
Предвещения	23
Полет взоров	25
Постылое зелье	28
Первая метельная ектения	29
Сумбур	31
Гадалка	35
Город	37
Третий	38
Вторая метельная ектения	40
Часть вторая	42
Мраморный гений	42
Зацветающий ветер	47
Воздушный набег	52
Молитва о хлеве	58
Верхом на воздухе	60
Пена колосистая	64
Вечный покой	66
Золотая осень	68
В монастыре	70
Часть третья	73
Слезы рослые	73
Алмазы	76
Хаос зашевелился	78
Воздушная игуменья	84
Шепот весеннего времени	86
В старине	89
Прелестию своею	92
Огневой бокал	94
Деточка	96
Капли	98
Опять капли	99
Колдун	100
Синева господня	102
Часть четвертая	105
Белололейный цветок	105
Гробная лазурь	107
Полиелей	110

Духово пьянство	112
Мертвец	115
Верхом на месяце	117
Вспомнила!	120
Песнь из бездны	122
В стране бриллиантов	123
Третья метельная ектения	124
Встреча	126
Змей повержен	128
Только снег, только ветер!	130
Чудо	132

Андрей Белый

Кубок метелей

Четвертая симфония

С глубоким уважением посвящает автор книгу Николаю Карловичу Метнеру¹, вдумавшему тему симфонии,

и

Дорогому другу Зинаиде Николаевне Гиппиус, разрешившей эту тему

Вместо предисловия

Оканчивая свою «Четвертую Симфонию», я нахожусь в некотором недоумении. Кто ее будет читать? Кому она нужна? Я работал над ней долго, я старался по возможности точнее обрисовать некоторые переживания, подстилающие, так сказать, фон обыденной жизни и, по существу, невоплотимые в образах. Эти переживания, облеченные в форму повторяющихся тем, проходящих сквозь всю «Симфонию», представлены как бы в увеличительном стекле. Тут я встретился с двумя родами недоумений. Следует ли при выборе образа переживанию, по существу невоплотимому в образ, руководствоваться красотой самого образа или точностью его (т. е. чтобы образ вмещал возможный максимум переживания)? Вместе с тем как совместить внутреннюю связь невоплотимых в образ переживаний (я бы сказал, мистических) со связью образов? Передо мною обозначилось два пути: путь искусства и путь анализа самих переживаний, разложения их на составные части. Я избрал второй путь, и потому-то недоумеваю, – есть ли предлагаемая «Симфония» художественное произведение или документ состояния сознания современной души, быть может, любопытный для будущего психолога? Это касается субстанции самой «Симфонии».

Что же касается способа письма, то и здесь я недоумеваю. Меня интересовал конструктивный механизм той смутно сознаваемой формы, которой были написаны предыдущие мои «Симфонии»: там конструкция сама собой напрашивалась, и отчетливого представления о том, чем должна быть «Симфония» в литературе, у меня не было. В предлагаемой «Симфонии» я более всего старался быть точным в экспозиции тем, в их контрапункте, соединении и т. д. В моей «Симфонии», собственно, две группы тем: первую группу составляют темы I-й части; все они, отличаясь друг от друга построением фраз, имеют, однако, внутреннее родство. Вторую группу тем образуют темы II части, которые по конструкции, в сущности, составляют одну тему, изложенную в главе «Зацветающий ветер». Эта тема развивается в трех направлениях. Одно ее направление (тема «а», как я ее привык называть) более отчетливо выражено в главе II части «В монастыре»; другое (тема «b») в главе части «Пена колосистая»; третье (тема «с») в главе «Золотая осень». Эти три темы II-й части – а, b, с, – вступая в соприкосновение с темами I-й части, и образуют, так сказать, ткань всей «Симфонии». В III и IV частях я старался выводить конструкцию фраз и образов так, чтобы форма и образ были predeterminedены тематическим развитием и, поскольку это возможно, подчинять образ механическому развитию тем. Я сознавал, что точность структуры, во-первых, подчиняет фабулу технике (часто приходилось удлинять «Симфонию» исключительно ради структурного интереса) и что красота образа не всегда совпадает с закономерностью его структурной формы. Вот почему и на «Симфонию» свою я смотрел во время работы лишь как на структурную задачу. Я до сих пор не знаю, имеет ли она право на существование. Но я вообще не знаю, имеют ли эти права боль-

шинство произведений современной литературы. Я старался быть скорее исследователем, чем художником. Только объективная оценка будущего решит, имеют ли смысл мои структурные вычисления или они – парадокс. Но в таком же положении находятся и труженики чистого знания: будущее решает, возможно ли техническое приложение из их трудов. Я бы мог для отчетности привести здесь структурную схему всех глав, но кому это сейчас интересно? Для примера скажу только, что глава III части «Слезы росные» составлена по следующей схеме. Если мы назовем отрывки главы II части «Золотой осени», исключая первого, α , β , γ , δ , ϵ и т. д. и будем помнить, что: 1) основные темы 11-й части a, b, c, 2) одна из тем первой части есть «q», то общая конструкция главы примет вид: $\alpha\beta\gamma\delta\epsilon$ и т. д. Читатель поймет, в чем дело. Так же написано и все прочее.

Наконец, еще одна трудность для полного понимания «Симфонии». Смысл символов ее становится прозрачней от понимания структуры ее. Для того чтобы вполне рассмотреть переживание, сквозящее в любом образе, надо понимать, в какой теме этот образ проходит, сколько раз уже повторялась тема образа и какие образы ее сопровождали. И если при поверхностном чтении смысл переживания передается с точностью до 1/2, то при соблюдении всего сказанного со стороны читателя смысл переживания уясняется с точностью до 0,01.

Отсюда следует одно печальное для меня заключение: я могу рекомендовать изучить мою «Симфонию» (сначала прочесть, потом рассмотреть структуру, прочесть еще и еще). Но какое право имею я на то, чтобы меня изучали, когда я и сам не знаю, парадокс или не парадокс вся моя «Симфония»? Без внимательного отношения к моим приемам письма «Симфония» покажется скучной, растянутой, написанной ради красочных тонов некоторых отдельных ее сцен.

В заключение скажу о задаче фабулы, хотя она и тесно связана с техникой письма. В предлагаемой «Симфонии» я хотел изобразить всю гамму той особого рода любви, которую смутно предощущает наша эпоха, как предощущали ее и раньше Платон, Гете, Данте, – священной любви. Если и возможно в будущем новое религиозное сознание, то путь к нему – только через любовь. Я должен оговориться, что не имею ничего общего с современными пророками эротизма, стирающими черту не только между мистикой и психопатологией, не только вносящие в мистику порнографию, но и придающие эзотеризму смутных религиозных переживаний оттенок рекламы и шарлатанства. Должен оговориться, что пока я не вижу достоверных путей реализации этого смутного зова от любви к религии любви. Вот почему мне хотелось изобразить обетованную землю этой любви из метели, золота, неба и ветра. Тема метелей – это смутно зовущий порыв... куда? К жизни или смерти? К безумию или мудрости? И души любящих растворяются в метели.

Тема метелей возникла у меня давно – еще в 1903 году. Тогда же написаны некоторые (впоследствии переработанные) отрывки. Первые две части в первоначальной редакции были готовы уже в 1904 году (впоследствии я их переработал): тогда же основной лейтмотив метели был мною точно определен. Эти отрывки я и читал некоторым московским и петербургским писателям. Наконец, 1-я часть в законченном виде была готова в июне 1906 года (два года я по многим причинам не мог работать над «Симфонией»); при переписке я включил лишь некоторые сатирические сцены – не более.

Пишу все это ввиду того, что многие могут меня укорять в перепеве некоторых современных тем. После всего сказанного я отклоняю от себя решительно этот возможный укор.

Автор
1907 год, Москва

Часть первая Снежная лапа

Метель

Метель выдувала с крыш бледные вихри.

Прыснули вверх снега и, как лилии, закачались над городом.

Певучие ленты серебра налетали – пролетали, обволакивали.

Сталкивались, дробясь снегом.

И снег рассыпался горстями бриллиантов. Сотнями брызнувших мошек, танцую, метался, ложился у ног.

И мошки гасли.

Но, брызнувши светом, они опять возносились.

Снова гигантские лилии, занесясь, закачавшись над городом, облетали с пургою.

Это была первая зимняя метель.

На улице казались прохожие бледными, странными, когда сталкивались, хватаясь за шляпы.

Знакомая тайна в душе пролетала нежданно. Знакомые вопли вдали разрывались призывно. Знакомая тайна душо проплывала нежданно.

Но бродили все так же, все так же...

Здесь прохожий мелькнет, там прохожий кивнет своей мягкой шляпой.

Проходя, столкнется с ждущим навстречу.

Все кружилось пред ним бледным вихрем – снежным вихрем.

И слово ветра становилось пурговой плотью.

Мелькали прохожие, конки, пролетки, как тени столкнувшихся диких метелей.

Единый вставал лик, метельный, желанный, – стенал, улыбался, склонялся.

Опять. И опять.

Манил все тою же тайной.

Белый рукав поднимался вдоль стены. А за ним вырастал уж другой.

Белый рукав, сочась из забора, неизменно вырастал.

Лизал стены домов.

И ускользал.

Над домами надулись белые паруса.

С пением над домами летели воздушные корабли.

Белокрылые летуны уносились сквозь время: на родину, на неизвестную родину.

Белый мертвец вставал у окна. А за ним вставал у окна белый мертвец.

Белый мертвец, сочась с кладбища, неизменно стучал под окном. Распускал саван.

И белый мертвец пролетал...

Город

Так. Возшла луна.

Кто-то, знакомый, протянул сияющий одуванчик. Кто-то знакомый все зажег.

Протянул и зажег.

Все затянулось пушистыми перьями блеска, и перья, ластясь, почили на стеклах домов.

Тень конки, неизменно вырастая, падала на дома, переламывалась, удлинялась и ускользала.

Вечер был выжженный, бодрый.

Кто-то, знакомый, сидел в конке. Пунсовый фонарь, отражаясь, дробился в тающем снеге.

Отражение мчалось на лужах, на рельсах впереди конки; чертило камни пунсовым блеском, дробилось и пропадало.

Тень конки, неизменно вырастая, падала на дома, переламывалась, удлинялась и ускользала.

Толпы учащихся, с лекций выбегая, дробились вдоль улиц, бросали в метель свои книжные знания, глупели и оснежались.

Тучи снегов, над домами взлетая, дробились сотнями зашелестевших страниц, перед носом студента мелькали и рассыпались.

Кто-то, все тот же, кутила и пьяница, осыпал руки лакея серебряными, ледяными рублями: все проструилось в метель из его кошелька, и метельные деньги блистали у фонарей.

Тень жулика, неизменно вырастая, протягивала руку, опускала в чужой карман, вынимала и ускользала.

Кто-то, все тот же, банкир и скряга, подставлял в метель свой мешок: все насыпалось туда метельными рублями, серебром, гудящими о крыши, вывески, фонари.

Проститутка, все так же нападавая, тащила к себе то банкира, то пьяницу, раздевалась, одевалась, опять выбегала в метель.

Кто-то, все тот же, протянул над городом белый, сияющий одуванчик: все затянулось пушистыми перьями снежного блеска, зацветающими у фонарей.

И перья ласково щекотали прохожих под теплым воротником.

Так.

Ветер был выжженный, поющий.

Белый рукав, неизменно вырастая, припадал к домам, переламывался, удлинялся и ускользал; а за ним поднимался рукав, а за ним поднимался еще, и еще, и еще.

Все рукава, хохотом завиваясь, падали на дома, рассыпались ярыми звездами, алмазили окна, и вот – пролетали.

И еще. И еще.

Жемчуг в алом

Невидимый диакон, склонясь над домами, замахнулся взвизгнувшим вейным кадилом, проливая ласку, воздушную, снежную.

Невидимый хор подпевал: «Радуйся, невеста метелица!»

Встали белые. Летали и танцевали.

Но сквозь них щекотали солнечные колосья, да голубые миры, словно опушенные серебряными ресницами, улыбались далеким пространствам.

Кружево иконостаса трепыхалось в пламеньках восковых свечек.

Златобархатный сумрак был там, испещренный пятнами лампадок.

Женщина с огненными волосами склонялась, и над ней, парчовой, диакон проливал ласку ладана, ароматно-лазурную.

И рой мальчиков прозвенел: «Радуйся, невеста невестная!»

Так: женщина с огневыми кудрями склонилась: над ней пунсовый огонек лампадки знаменательно засверкал.

Снежным облаком вуаль занавесила ей лицо.

Склонилась.

И вновь поднялась.

Легкосвистный шелк сладко запел, когда повернула к выходу.

Вьюжное облачко занавесило блеск лампадки,

И вновь развеялось.

И пурпуровый огонек знаменательно засверкал, озаряя образ Богородицы.

Все кружилось перед ней бледным вихрем – вьюгой, вьюгой.

Вспоминала: «И Слово стало Плотню».

Женщина с золотыми волосами искала всю жизнь воплощения – в улыбках, в словах и делах.

Единый вставал Лик, Желанный, – перед ней улыбался, склонялся.

Опять. И опять...

Манил все тою же тайной.

Пробужденный хаос шумно восставал. Белый столб возлетал.

И, как призрачный смычок, скользил вдоль телеграфных проводов, как вдоль струн.

И струны пели: «Наше счастье с нами». Вихряные рога гремели.

Примелькался снег, уносящийся пухом, пролетающий счастьем, как сон,

Дни летели.

Со днями летела она удивленно в пространствах.

Милого звала, все звала. А теперь вот ее призывал, призывал.

Вкрадчивой, тигровой улыбкой, из-под кружевной вуали, из-под черных, черных ресниц, из-под, как миндаль, удлинённых очей в неба бархат темно-синий взоры ее впились удивленно, сладко, томительно.

Чем жаднее пила призывами небо, тем быстрее летели вьюжные кони над городом, тем настойчивей раздавался все тот же топот, неустанно гремящий над крышами.

Метель раскидала над городом свои легкие, свистные руки.

Трубы домов – громкие трубом-дымом трубили, призывом старинным, и грустным, и легким.

Снежные когти метели то гладили ее, то иглами больно царапали.
Бархатно-мягкий день, заснеженный белыми пятнами, уплывал над домами.
Бархатно-мягкий закат, испещренный дымными тучами, потухал над домами.

Бархатная лапа

Адам Петрович спешил по спешному делу. Мелькали прохожие.
Знакомые абрисы домов высились неизменно. Говорили о том же, все о том же...
Все уйдет. Все пройдет. Уходя, столкнется с идущим навстречу.

Так кружатся вселенные в вечной смене, все той же смене.
Знакомые абрисы домов, заборы, и белые стены, и повороты кривых улиц – давно он узнал ваши тайные взывания к нему.
Бархатно-мягкий день, заснеженный бледными пятнами, потухал над домами.

Роковое горе пеленало его в своих яростных лапах.
Оно пеленало тигровой багрянницей, – шкурой, чуть-чуть страшной.
Точно буря рвала его сердце.
Милую не знал никогда он. А теперь его призывала метель.
Вкрадчивой, тигровой улыбкой из-под золотой, как горсть спелых колосьев, бородки улыбался Адам Петрович, из-под темных полей шляпы в неба бархат синий-синий взоры его летели удивленно, призывно, томительно.

Белые рои кружились над городом.
Смотрел: белые рои с гуденьем пролетали мимо и облепили влагой ресницы.
Снег рассыпался горстями бриллиантов.
Сотнями брызнувших мошек ложился у нот. И мошки гасли.

Высокая женщина с огневными волосами из вьюги пошла неровной, вкрадчиво-грустной походкой.
Ее вид, как небо, был далекий, но близкий.
Очи, – нестерпимо влажные лоскутки лазури, – точно миры, опущенные черными ресницами, из далеких пространств поднялись они испытующе на него.

Они подавали надежду. Говорили о невозможном. Посылали свою утомленную ласку, сжимавшую сердце. Чем нежнее ластились ее глаза, тем настойчивей, жгучей рвались из рук протянутые пряди ее шлейфа – черно-пепельные с алым отливом.

Чем безумней он к ней устремлялся, тем призывней, звончей легкохвистные ткани метелей, кружась, рассыпались безвластно.

Не отгадала она странных мыслей его?
Почему она смотрит так грустно и почти улыбается
Утишает грусть и точно все спрашивает о чем-то? Вот-вот тихо подходит к нему.

Не закидала ли метель его снегом?
Почему город истаял в легкохвистой пляске рассыпчатых призраков?
Метель утишает грусть и уносит бедное сердце.
Вот-вот снегом преходит и мир.
Бедное сердце: преходит мир.

Лицо его, облак грусти, изорвала душа, заря – душа, заря взволнованно пропылала.

Душа выпивала старинный напиток, – то, чего никто не пьет: в душе взволнованно проплывали пиры, – пиры, давно проплывшие, сладко томили.

Алое вино, алое, к щекам приливалось. Грудь разрывало одно, навек одно.

Стенающий вздох – облак снега – взвила пурга: снег – снег, бичуя холодом, просребрил. Метель запевала старинную старину, – то, чего никто не поет, никто не поет.

Белое серебро, белое, к очам припадало. Грудь озвездилась серебром, парчой.

Но она безответно промелькнула. Шелест платья пронесся, как лёт засыхающих листьев, как ток, пролетающий в ветре, как ночи и дни.

Наклонялась. Выпрямлялась. Еще прислушивалась к чему-то.

Странно обернулась и кивнула ему среди улиц.

Еще. И еще.

Но черно-пепельное платье, но лазурь очей, но волос медовое золото гасли, сливаясь оттенками в одну смутную, неизъяснимую грусть.

Так мягко горел в языках ярого огня.

Огонь пеленал тигровой багрянницей, чуть-чуть страшной.

Бархатно-мягкий день, заснеженный бледными пятнами, проплывал над домами.

Вьюга – клубок серебряных ниток – накатила: ветры стали разматывать.

И парчовое серебро сквозной паутиной опутало улицы и дома.

Из-за заборов встал ряд снежных нитей и улетел в не-беса.

Раздавались призывы: «Ввы... Ввы...»

«Уввы...»

Над крышей вздыбился воздушный конь.

Дико проржал вихряной летун, простучал копытом гулко по железу.

Прокачалась белая грива, расчесанная ветром.

Над крышей вздыбился, проржал, простучал.

Адам Петрович возвращался.

Огненно-желтое небо раскидало над домами свои бархатные, заревые объятия.

Он подумал: «Я возвращаюсь. Не возвратится ли и она?»

Выехал экипаж из-за поворота. Остановился.

Мягкий, желтый плюш, испещренный серыми кольцами, пеленал ее ноги.

Во всех окнах, обращенных к закату, махали красными знаменами.

Это были заревые отсветы вечно странных дум.

Неизменных.

Это была она... нет, не она.

Над крышей вздыбился воздушный конь.

Дико взлетел вихряной летун. Прокачался в воздухе.

И упал, разорванный ветром.

Вздыбился, взлетел, промчался, проржал.

На оранжевом платье, точно шкура рыси, сидела зимняя кофточка.

Шляпа подносом тенила лицо.

Губы – доли багряного персика – змеились тигровой улыбкой – чуть-чуть страшной.

Вышла из экипажа. С мечтательным бессердечием взглянула на него.

Мягкая кошка так бархатной лапой погладит: погладит и оцарапает.

Заревые отсветы переползали с окна на окно.

Вот безответно промелькнула.

Раздался шелест листьев, пролетающих, как пятна, как пятна ночей и дней: шелест шелкового платья.

Повернулся. Пошел за ней.

Улицы сплетались в один таинственный лабиринт, и протяжные вопли далеких фабрик (глухое стенанье Минотавра²) смущали сердце вещим предчувствием.

Раздавались призывы: «Выи... Ввыи...»

«Уввыи...»

Из всех труб, обращенных к небу, трубили дымными призывами.

Это шел бой.

Это были снеговые знамена вечно белых отрядов – вознесенных.

Военный, пролетая мимо, распахнул шинель и кричал кому-то, махая фуражкой: «Какова метелька?»

На минуту блеснула его седина, волнуемая ветром, и он скрылся в снежном водовороте.

У поворота они встретились.

Он шел неровной походкой, задумчивый, грустно-тихий.

Она скользила с заносчивой мягкостью.

Она спрашивала взором, а он отвечал; она успокаивала, а он молчал.

Они подняли друг на друга свои очи – голубые миры – и замерли, как бы не замечая друг друга.

Потом он улыбнулся, а она без улыбки сделала знак рукою, и ей подали экипаж.

Точно две встречные волны столкнулись в бушующем море старины.

И вновь разбежались.

И осталось старинное, вечно-грустное.

Все то же.

Небо угасло.

Бархатно-мягкий закат, испещренный туманными пятнами, потухал над домами.

Над крышей вздыбился воздушный конь.

Пролетая в небо, развеял хвост и ржал кому-то, качая гривой.

На нем сидел метельный всадник – вечно-белый и странный.

На минуту блеснуло его копьё; он скрылся в снежном водовороте.

Раздалось звенящее трепетанье: это буря рванула номер фонаря.

² *Минотавр* – в греческой мифологии чудовище, полубык, получеловек, рожденный женой критского царя Миноса от священного быка бога Посейдона. Минос заключил Минотавра в лабиринт. Афинский герой *Тесей* убил Минотавра.

Бусы и бисер

Пришел в редакцию.

Ему навстречу выбежал мистический анархист с золотыми волосами, вкрадчиво раздвоенной бородкой.

Его сюртук, как бутылка, зеленый, был необычен.

Чем нежнее ластился он к гостям, тем настойчивей, пытливей впивались глаза его, синие, с зеленоватым отливом.

Пурпур уст, и лазурь очей, и золото волос сливались оттенками в одну смутную, неизъяснимую грусть.

Напоминал Христа в изображении Корреджио, – все тот же образ.

Здесь шагал он все так же, все так же...

Все бродил, все говорил. Потрясал золотой, чуть раздвоенной бородкой.

Вот он безответно любил музыку: слушал прежде Вагнера; глаза зеленою горели, как хризолит.

Иногда прежде рыдал от вечно странных, ускользающих дум.

Неизменных...

Как во сне... нет, не во сне...

Теперь он стал бело-бледный, чуть светящийся, просыпающий бусы и бисер, вздыхающий – дерзновенный.

В глазах не сияла зелень – незабудки.

Брал голосом гаммы, бархатные, как снега.

От непрерывных исканий тайны глаза из-под льняных волос, из-под бледного лба правых и виноватых негою чуть-чуть грустной влюбляли мягко, ловко, настойчиво.

В окнах редакции не сверкали снега-хитоны.

Вьюга, словно Кузмин³, брала гаммы, бархатные, как снега.

От безутешных сверканий закатных «Шабли», будто в ресторане «Вена»⁴, из-под кэкуока пурги, будто белой пены шампанского, страшною негою румян зари влюбляли кого попало, страстно, настойчиво.

Речами о любви, томно-желтыми бабочками, трепетавшими вокруг уст, – еще издали забрасывал первого встречного мистик-анархист увлеченно, быстро, яро.

Будил надежду. Говорил о невозможном.

Выводил голосом бархатистые гаммы и сжимал в руке корректуры:

«Не пробегаем ли мы огневой пояс страсти, как Зигфриды⁵? Почему древний змий оскандился на нас? Обнажаем меч и точно все ищем Брунгильду.

«Вот-вот с зарей пролетает она...

«Рассыпает незабудки. Дышит светами, дышит нежно.

«Будто в зелени, сочится медовым золотом безвременья, и деревья, охваченные ею, отмахиваются от невидимых объятий и поцелуев.

³ *Кузмин* Михаил Алексеевич (1875–1936) – русский писатель и композитор. Примыкал к символизму, затем к акмеизму. Ему принадлежит музыка к пьесам А. Блока «Балаганчик», А. Ремизова «Бесовское действо», Шекспира «Крещенский вечер» и др.

⁴ «Вена» – петербургский ресторан, посещаемый писателями и деятелями искусства.

⁵ *Зигфрид*, *Брунгильда* – герои цикла музыкальных драм Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга»; либретто было создано композитором на основе скандинавского эпоса VIII–IX вв. «Эдда» и средне-верхненемецкого эпоса XIII в. «Песнь о Нибелунгах».

«Возмечают ликующе зеленые орари свои, точно диаконы светослужения, – упиваются, дышат, купаются в ней, прогоняя полунощь».

Выскочил Нулков. Приложился ухом к замочной скважине, слушал пророчество мистика-анархиста.

Наскоро записывал в карманную книжечку, охваченный ужасом, и волоса его, вставшие дыбом, волновались: «Об этом теперь напишу фельетон я!»

Мистик-анархист говорил, вскочил, тьму заклинал и молил, и высоко вздернутые плечи, и лицо-жемчужина, и длинные пряди волос – море желтеньких лютиков – точно гасли в наплывающем вечере.

Вьюга – клубок парчовых ниток – подкатилась к окну: ветры стали разматывать.

И парчовое серебро сквозной паутиной опутало улицы и дома.

Из-за заборов встал ряд снежных космачей и улетел в небеса. Из-за забора встали гребни седин и разбились волнами о небеса. Из-за забора встал ряд снежных нитей и улетел в небеса.

Но он низвергся. Лег под ногами в одну звездистую сеть.

И опять взлетел, и все пропало...

Адам Петрович, ища разгадки, пришёл к мистик-анархисту: словами заткали его, точно громадными полотнами.

Так красивая ложь оплела паутиной его тайную встречу.

Пред ним стоял мистик и прыгал в небо. Но полетел вниз. И красиво врал.

Адам Петрович брезгливо прищурил глаза: из огневых янтарей, задрожавших в окне, сверкнул ряд колких игол и уколол небеса.

Очи зажмурил.

Иглы пересеклись, ломаясь, в одну звездистую сеть.

И очи открыл: и все пропало...

Очи открывал, закрывал: иглы ломались, метались, как тонко отточенные золота лезвия.

Мед снежный

Адам Петрович возвращался от мистика-анархиста.

Тень Адама Петровича, неизменно вырастая, рвалась вперед от него, удлинняясь и тая на мостовой.

А уж на стене скользила еще одна тень, а за ней поднималась еще.

Все двойники и вырастали, и таяли, и уплывали вперед.

Вырастали, таяли. Таяли, вырастали.

Так шел он, окруженный кучкой призрачных двойников. Так шел он с ватагой белых стариков. Так шел он, окруженный хладными роями – старинными, неизменными, вечно-метельными.

Когда же он пошел обратно, все те двойники, что истаяли, возникали опять и плыли обратно: вырастали и таяли – таяли, вырастали.

Кружевные крылья лунной птицы изорвали мечи набежавших тучек; ветер сдул бледную шапочку одуванчика, развеял пух. Развеял ветер.

Луна померкла.

Так: он думал, что странные слухи клубились по городу.

Бледный ток метущий оседал мягко: как снег, в сердца декадентов; их слова зацветали стразами и отгорали.

Декаденты бросались по городу, ужасались и восхищались. Козловод Жеоржий Нулков крутил в гостиных мистические крутني.

Смеялся в лукавый ус: «Кто может сказать упоенней меня? Кто может, как мед, снять в баночку все дерзновения и сварить из них мистический суп?»

Над ним подшутила метель: «Ну, конечно, никто!»

Схватила в охапку: схватила, подбросила – и подбросила в пустоту.

А стаи печатных книг вылетали из типографий, взвевные метелью, проснежались неппрочитанными страница-ми у ног прохожих.

Так он думал.

Да.

Темные чувства – осы – роились у сердца.

Алый бархат крови стекал с распятия, где ужас небытия распинал и пригвождал. Царь в алый шелк своей крови облекся.

Кто-то то отвергал его душу, то вновь призывал, – покрывал, словно багряницей.

Словно протягивал губку с уксусом: «Кто может Тебя снять со креста?»

Приникал к Распятию, и Распятый: «Ну, конечно, никто!»

Кто-то, милый, снял с кипарисного древа, нежно поцеловал и бросил под ноги горсти гвоздей.

Пусть тысячи колких жал вопьются в бедные ноги, орошаясь пурпуром крови.

Думал.

Декадентская общественность воевала с миром.

Социал-демократ убегал в анархизм; кучки анархистов ломались в мистику; большой, черный, теократ, как ассирийский царь, примирял Бога и человека.

Все они глумились над социал-демократами:

«Мы-то левее вас!»

За чаем бросали словесные бомбы, экспроприруя чужие мысли. Все они забегали влево, пропадали за горизонтом, купаясь в мистике, и восходили, как солнца, справа.

И ватага мистиков росла, все росла, бездельно шатаясь друг к другу и поднимая метель слов.

Думал.

Счастье Христово покинуло Адама Петровича. Он сонно ахнул, и ланиты его точно блекли, точно отгорали.

Его глаза то грустили, то искрились гневом: «Кто мог меня оставить в этих красных шелках?»

Кто-то, Невидимый, шепнул: «Ну, да: это – Я». Кротко столкнул в пасть небытия и бросил под ноги горсть бриллиантов.

И стая брызнувших миров удаленно мчалась под ногами Адама Петровича в черном бархате небытия.

«Ах, никто не поможет вернуться!»

Висел в темном. Мимо него с гудением пролетали миры; яркие звезды, блестя, бросали лучи.

Вышли помощники.

Федор Сологуб пошел на него из переулка.

Черные тени развесил, охлажденные хрустальными звездными слез: тряся седою бородой, едко заметил: «И яркие в небе горели звезды!»

Выбежал Ремизов из подворотни: «Хочешь играть со мною в снежного Крикса-Варакса?» Посмотрел из-под очков на Адама Петровича.

Вышел великий Блок и предложил сложить из ледяных сосулечек снежный костер.

Скок да скок на костер великий Блок: удивился, что не сгорает. Вернулся домой и скромно рассказывал: «Я сгорал на снежном костре».

На другой день всех объездил Волошин, воспевая «чудо св. Блока».

Черные толпы ждали Городецкого на Невском.

Добрый народ поджидал долго. Прощелкал Городецкий. Щелкнул пальцем кому-то в нос.

Громовые вопли провожали мальчика.

Жеоржий Нулков на лихаче пролетел мимо и кричал: «Мы, мы, мы».

Грустно вздохнул Шестов⁶: «Не люблю болтовни!..» «Вы наш!» – закричали мистики и увели в «Вену»,

Вот как? Да, так.

Так думал Адам Петрович.

Прошел мимо.

У окна остановился.

Из окна окатил его свет: «Никто не поможет мне залечить гвоздные язвы!»

Мимо с гудением пронеслись, будто в свете брызнувшие, мошки и, ярые мошки, облепили, язвя, лицо.

Ходил вдоль стены и поглядывал, и заглядывал в окна света.

Кто там в окне сидел над лампой?

И окно света тихо угасло, и мошки угасли: кто там ушел, захватив лампу?

⁶ Шестов Лев (настоящие имя и фамилия Лев Исаакович Шварцман) (1866–1938) – русский философ-иррационалист и писатель, представитель экзистенциализма.

Очнулся. Заглянул в окно.

Там желтое кружево застыло на потолке. Там желтое кружево поползло.

Там возвращались в комнату с лампой в руке.

Бархатные ее раскидались, вихряные в небе, объятия. Неизвестная над ним взвилась. Что в ней было?..

Облачки вьюги пышно вздувала, прогоняла повое. Вздувала, прогоняла; прогоняла, вздувала.

Там на вздох отвечала вьюга вздохом. На желанье блистаньем у лампы отвечала белая метель.

Над забором затанцевал вихряной столб. Неизвестный взвивал свои бледные недра. Что в них было?

Но бежал, и вихряной столб упал в заборную скважину: там воздушные летуны – столб за столбом – пышно взлетали и пышно падали.

Из-за забора кивали друг другу, за забором носились сладкою они, сладко ахнувшей вьюгой.

За стеной у него незаметно взлетали столбы: но за стеной призывали его, как в детские годы, куда-то.

Обернулся. Пошел назад.

Снеговые столбы, вырвавшиеся, – ниспадали, ниспадавшие, – таяли.

Они встретились. Глаза блеснули. Склонились в серебряных тенях.

Они встретились, где лампадный огонек кропил пурпуром снега, озаря образ Богородицы,

Глаза ее блеснули любовью, когда склонилась пред ним в сквозных вуалях, в осеребренных соболях; золотою головкою клонилась желанно, пурпуровым вздохом уст затомила: это все в ней радостно пело.

Это сон сбежал с его черных ресниц. Да, на вздох ответила вздохом, на желанье – желаньем.

Столкнулись. Но разошлись. Но шаги их замерли в отдалении.

Затомила, сон сбежал; ответила вздохом: но разошлись.

Он думал о ней. Она о нем думала. Пышно взлетели снега, пышно падали; то секли колко, то ласково щекотали под воротником.

В ней он узнал свою тайну. Что она в нем узнала?

Она была ему милая, а он – ей.

До встречи томились, до встречи искали, до встречи молились друг другу, до встречи снились.

Над фонарем стоял световой круг.

Стоило подойти ближе, и фонарь втягивал в себя световой, на снегу трепещущий круг.

Он шел.

Снеговые круги – круг за кругом, – незаметно втягиваясь в стекло фонаря, незаметно истаяли перед ним.

Вновь за спиной они вырастали.

Сладкая была дума о ней, сладкая о Господе тайна: значит, Господь был среди них. Грустно позвал, как и в детские годы, куда-то.

Обернулся. Пошел назад. Никого не было.

Световые круги, выроставшие, – таяли, таявшие, – выростали.
Обернулся. Пошел назад.
Световые круги, таявшие, – выростали, выроставшие, – таяли.

Кто там стоял и глядел на него долгими, синими взорами?
Вьюжные рои взвихрились у домов. Подворотни мягко гремели, когда снежные горсти то взлетали, то ниспадали. Все покрылось матовым инеем.
В окне вздохнули: «Кто может заснежить все?»
Вьюга сказала: «Ну, конечно, я!»
Грустно задышала и бросила под ноги новые снега. Новые стаи взвизгнувшей пыли стремительно ринулись из-под забора в синий бархат ночи, мимо с гудением пронеслись и облепили, холода, оконные стекла.

Белые шмели роились у фонарей.
Белый бархат мягко хрустел у его ног: горсти бриллиантов и расцветали, и отгорали.
Его глаза то грустили, то радовались лазурью, а золотая бородка покрылась матовым инеем.
Смеялся в белый снег: «Кто может мне запретить только и думать о ней?»
Пробежал мимо фонаря. Кто-то невидимый шепнул ему: «Ну, конечно, никто!..»
Нежно поцеловал и бросил под ноги горсть бриллиантов. Да: цветущую горсть.
Стаи брызнувших мошек ослепительно понесли из-под ног на белом бархате снега.
Крутил у подъезда золотой ус: «Никто не может мне запретить только и думать о ней». «Думать о ней».
Звонился.
Мимо него с гудением пролетали рои: белые пчелы облепили, холода, его лицо.
Вдоль глухой стены поплыли окна света.

Это прислуга шла отпирать дверь – проходила по комнате с лампой в руке.
Окно света застыло на глухой стене: это прислуга поставила лампу, чтоб отпереть ему дверь.

«Только и буду думать о ней.
«Думать о ней».
Лежал в постели. Пробежали думы. Открыл глаза. Пробежали пятна света на потолке: это ночью на дворе кто-то шел с фонарем,
Другие думы оживили его – думы скорби: «Я – ищущий, а она – Брунгильда, окруженная поясом огня!
«Брунгильда из огня».

Открыл глаза.
Пятна света бежали обратно по потолку,

В пене белой

Завитыми огнями головки над фарфоровой чашечкой кофе склоняясь, ножкой дразнила болонку, откидывалась назад, перелистывала томик и роняла на чайный столик.

Хрупкие кружева, под окошком шатаясь, взбивала пурга, кружева разрывала, в окна стучала.

Да, стучала.

Снежное его лицо, будто метель разрывая, стужей в окно ей смеялось, кивало и проносилось.

И Светлова, к окну подбегая, в хрусталях, в льдах клонила, их целовала, протягивала руки и замирала.

Ее кружева, с рук спадая, струились, платье пенили; руки ломала и возвращалась к кофе.

Он стоял, весь в цветах, весь в снегах, в хрусталях, и смеялся у окон, как в детские годы смеялся когда-то.

Он воздел свои руки и роем снежинок, букетом цветов полевых в окна ей бросил: так бросал лепестки он в детские годы когда-то.

Он ее призывал, как и в детские годы когда-то.

Вкрадчивый мистик, краснея зарей молодой, подносил ей томик рассказов.

Завитая туманами речь, испещренная тайнами, обуревала ее.

Бархатные тувельки легко уносили ее от гостя, и ручками затыкала она уши.

Одудловатый толстяк, инженер, приходившийся ей мужем, небрежно вышел к влюбленному мистика.

Но сконфуженный студент, спотыкаясь о символы и ковры, поспешил убежать от зевающего толстяка.

Там, в цветах у ее подъезда, подглядел, как в сапях она пролетела куда-то.

За нею, за ней, в снежный хохот метелей, бросался за нею куда-то.

Из-за черных дверей в смертный саван метели бросались куда-то.

Остуженный мертвец пурги, всех пеленая, шушукал бледным муаром савана, развеивал саван, повисал над карнизом ледяной костью.

Мягкие сани, в беспредельность пурги ускользя, снег взмывали, брызгали дымным серебром, визжали и пропадали.

Грустно призыв, из пурги вырастая, бил серебряной струей, грустно ласкал, грустно носил.

В магазине модного платья, меж грустнорунных атласов ныряя, она выбирала муар, склонялась и выпрямлялась.

Его бледные руки тянулись в пургу, как и в детские годы когда-то.

Улыбались друзья; он не видел друзей: пробежал мимо них куда-то.

Будто звали его, как и в детские годы, куда-то.

Подруга клонила к Светловой головку страусовыми перьями, прижимая муфту к лицу, ей лукаво шептала.

Светлова клонила к подруге головку страусовыми перьями, ее меховой руки коснулась маленькой муфтой.

Лукавым смехом клонились друг к другу и страусовыми перьями; оглядываясь на прохожего, шептали друг другу: «Вот он, вот он!»

Бледный, ласковый лик, повертываясь к ним, точно хотел подойти и проходил мимо.
Бархатно-мягкий день, заснеженный выюжными вихрями, запевал над домами.

Грустнорунные струны с серебряных лютней срывая, кто-то бледный грустил, как и прежде, грустил, как и прежде.

Предвещения

Вьюга гудела.

В окне вьюга летела ледяным скелетом, обвитым зажженной порфирой, взметенной, метущей.

Гремел рог пургой: «Вот я, вот я на вас!»

Завизжало лезвие косы, струившее снег над домами; забряцал конь алмазным копытом на телеграфных проводах.

Вздрыбился. Оборвал провод: «Горе вам, горе!»

Надушенный эстет прильнул к Адаму Петровичу: «У нас откровения...»

Святые слова картавил, кривляясь, напыщенно.

Звал туда же, туда же: «Все придут. Все облекутся! Уйдя, сохранять молчание».

Широкая шляпа, качавшаяся цветами, сквозная вуаль, запевавшее шелком платье, – смотрел он, смотрел в открытую дверь.

Бархатно-мягкой походкой вошла блондинка, бархатно-мягкой походкой вошла брюнетка; завитые в вуали, бросились к Адаму Петровичу; обнимая друг друга, друг другу глядели в глаза.

«Мы запишем вас в наше общество. Мы вас пресытим восторгами. Мы вас – сладкие у нас, сладкие полеты, идите, идите к нам!»

Надушенный эстет, запевавшая шелком блондинка, запевавшая шелком брюнетка, – узнал он, узнал те горькие неги!

Чей-то тревожный окрик взлетел над городом: кто-то кого-то куда-то звал.

Расчесанный лакей снял с нее шубу: «Барин к обеду вернулся!»

И слова оплели ее пошлостью: «Все сядут за стол. Все за столом изолгутся. Уйдут и вернуться. Вернутся и уйдут...»

Знакомая мерзость дней, смешок извращенной услады, – о, если бы он поддался соблазну!

Чей-то разорванный саван шушукнул под окнами: кто-то кого-то куда-то звал.

Адам Петрович говорил с блондинкой. Ревниво краснела брюнетка, ревниво краснел эстет. Говорил с брюнеткой – ревниво краснела блондинка, ревниво краснел эстет: это были проповедники эротизма.

Блондинка, брюнетка, эстет – эстет, брюнетка, блондинка: встал, разорвал душевное кольцо.

Чье-то секущее лезвие, точно коса, протрезвонило в окнах: кто-то, бледнея, вскинул руками.

Светлова, прилетев домой, плеснула перед зеркалом перчатками. Комнаты убежали в зеркала. Там показался он, милый, милый. Обернулась – бежал ее муж: уронила сквозной платочек.

Дряблый, пыхтящий инженер, задыхаясь в подбородках, уронил ей на плечи свои потные, потные руки.

Адам Петрович надел перед зеркалом перчатки. Комнаты убежали в зеркала.

Там показалась она: милая, милая.

Обернулся – в передней стоял лакей: поднял с полу чей-то сквозной платочек.

Серый, немой лакей, застывая с шубой, уронил ему на плечи душный, тяжелый мех.

Жалкий дубовый гроб выплывал из метельных гребней: чьи-то похороны тащились куда-то.

Светлову *поймал* муж. Светлову терзал ласками:

«Знакомые обещали быть непременно!»

И она: «Придут (оставь) все такие же пошлые!» Разметнула свистными крыльями шали (точно лебедь, пахнувший холодом), и зеленые стебли, упдающие над дверью, грудью разбила, убегая к себе.

Адама Петровича поймал оргиаст. Он терзал вопросами. Знакомые ответы раздавались привычно.

Говорил все так же, все так же...

Хрустальные крылья снегов – лебедей, поющих холодом, – разбивались у него на груди, падая с небес.

Чей-то тревожный крик изрыдался над городом: кто-то кого-то куда-то звал.

Полет взоров

Вскипало. Вскипало.

Пропенились снежные листья – бледные цветики пуха.

Голосило: «Опять приближается – опять, опять начинается: начинается!»

Пробренчало на телеграфных проводах: «Опять... надвигается... опять!..»

Снег встал потоком.

К пернатым дамам вошел в ложу. Улыбнулся рассеянно, тихо.

Строгая красавица навела на них лорнет.

Ярко-синие дали очертили томные ресницы – затомили негой.

Качалось волос ее зарево, золото...

Ароматно тонула, тонула – в незабудковом платье, как небо, в белопенной пурге кисейных, кремовых кружев, будто в нежной, снежной пыли.

Замерцал в волосах, блеснул, как утро, розовый бриллиант, и, как день, матовая жемчужина слезою качнулась.

Еле всхлипнул веер в легких перьях – небрежных взмахах.

Пела вьюга, свистела.

Проливались жемчужные песни – снежные, нежные сказки, вьюжные.

Засвистали: «Счастье приближается – опять надвигается, опять!»

Взвизгнул рукав на телеграфных проводах, как гибкий смычок на железных струнах: «Милая... неизвестная... милая!»

«Наше счастье с нами!»

«Да, да».

Виолончель безответно вздохнула: шелест скрипок повис, точно лет снежной пены, точно пенных в небе ток лебедей от брызнувших в воздух и размешанных с ночью.

На него она обернулась: удивленно взглянула, – в упор загляделась испуганно.

В упор бирюзовым вином своих вспыхнувших глаз за-пьянила.

Опустила глаза. Плеснула веером.

Точно облачко вьюги набежало на нее, как на солнце, замело кружевными снежинками.

Дышал зорями он.

Сладким пламенем, сладким, оплеснуло грудь.

Кивал, смущенно кивал, – в партер друзьям и знакомым, словно отмахивался от кокетливых ее, ласковых ее, взглядов: все точно вздыхал над чем-то.

От истомных волнений бесцельно играл с боа пернатой дамы, из-под бархата ресниц милую темно-синим взором ласкал он, все так же, предлагая кому-то бинокль глупо, бесцельно, рассеянно.

Говорил с соседкой о том же, все о том же. Глядел все туда же, туда же.

Встала она, и атласом вскипевшая шаль рванулась с нее, как взметенный, сквозной столб метельный.

Над ним, вокруг него взволнованно проплывали очей ее синие волны, синие – синева больная больно томила, сладко.

Взоров пьяное вино, пьяное, терзало одним, навек одним.

В пространствах замахали ветками снежных, воздушных ландышей: там исступленно упивались простором ночи, дышали морозным вихрем, купались, облегченно клонились петь над трубами.

И трубы пели:

«Дни текут. Снег рассыпается. Снегом встало незакатное, бессрочное»...

«Пролило пургу свою – ласку морозную – белыми своими устами расточило поцелуи льдяные»...

«Засочилось снеговым посвистом...»

И деревья, охваченные снегом, возметали ликующе суки свои, точно диаконы ночи, закупались в снеге и вздохнули облегченно, побелевшие в снежных объятиях.

Люди текли. Антракт близился к окончанию. Вот и она близко.

Надвигалась в черных сюртучных тучах, голубым неба пролетом завуаленным кружевом, укус томлений претворяя в золото и пургу.

Пролила из очей ласку лазурную. Пронесла улыбочиво уста, как лепестки, ароматные.

Шлейфом по сверкающему паркету рассыпала незабудки.

Пряди волос просочились мимо медовым пламенем, когда натянула, играя, над личиком сквозное, серебряное кружево, метнув яркий взор свой.

Кавалер ее, старый полковник, оттопырив руки, вертел фалдами мундира, сверкал эксельбантами и сединой, усмехался бритым лицом, охваченный ее кокетством, отмахивался от ее шуток, упивался, дышал, восхищался ей, вздыхал сладко в ее благоухании и – священнослужитель восторга – выше, выше свой профиль бросал, словно гордый, застывший сфинкс.

Вьюга укус страданий претворяла в радость и пургу.

Качались метельные, сквозные лилии – кадильницы холода.

Ревом, ревом фимиам свой в небо метали диаконы льдяные.

Адам Петрович вошел в ложу, повитый отсветом вечной любви, несказанной...

Вошел к своим. Нет, не к своим.

Точно спадающий водопад, струевые, певучие складки шелка дробились о нежное тело ее, когда она гордо приподнялась.

Чуть-чуть усмехнулась. Чуть-чуть покраснела, Чуть-чуть наклонилась. Чуть-чуть отступила.

Что-то сказал подруге.

– «Простите, простите!» – «Ничего!» Понял, что не туда попал.

Из ее вышел ложи сконфуженный, вечным овеянный, всегда тот же.

Гордо ударил громкий смешок гордо гремящего полковника.

Опять. И опять...

И она улыбнулась тоже.

Это были восторги их душившего счастья сближений мгновенных, чуть заметных: ветряно-снежные полеты кокетства.

Это была игра. Нет, не игра.

Просторы рыдали.

На перламутровом диком коне пролетел иерей – перламутровый иерей, вьюжный иерей, странный.

В ледистой, холодом затканной митре, священнослужитель морозов на руках выше, выше своих вознес сладкую, сладкую лютню.

Из рукавов его проструились муары снежинок. Бледными пальцами задел легкоцветные, вейные струны.

Провздохал: «Счастье, счастье!

«Ты с нами!»

Сбежала с лестницы. Роились у подъезда. Мягкий бархат ковра хрустел у ее ног; чуть приподнятая юбка зацвела шелком и отгорала.

Ее глаза то грустили, то радовались, то смеялись, то плакали, то сияли, то потухали.

Ее шаль, как одуванчик, пушилась кружевом над золотую головкою.

Над лестницей, свесившись, похотливо смеялся ей какой-то сюртучник: «Кто запретит мне любоваться ее стройной ножкой?»

И она безответно ускользнула: шелест юбок пронесся, как вздох замирающей грусти.

Но она безответно в снегах утонула: шелест снега пронесся, как лет птиц серебристых.

Но она села в сани.

Мягкий ее снег поцеловал и под ноги бросил горсть бриллиантов.

Сани стремительно понесли, дробя хрупкий бархат.

Серебряные, как бы снежные, лютни над ней зазвенели.

Раздалось пение метельного жениха: «Ты, вьюга, – винотворец: укус страданий претворяешь в серебро да пургу.

«Радуйтесь, пьяницы, радуйтесь и вино пейте, – вино белое, – вино морозов».

И она захлебнулась морозным вином.

Постылое зелье

Она беззаботно раздевалась.

Шелест незабудковых волн шелка – водопад ниспадающих одежд – раздавался от движений ускользающих ее, обнаженных рук.

Чем нежнее ластились к ней одежды, тем настойчивей рвала их она, восставшая из голубого, залитого шелка пеной белой, точно из морской волны, разбитой утесом, – восстала в сквозном батисте.

Как две легкие тучки, поднимались, клубясь, ее груди в желтой заре волос, иссекавших ей облачковое тело.

Поднимались и опускались.

А ей улыбался желанный, улыбался вечно грустный, все тот же.

Она клубилась в темных тенях: пирно-сладким из темноты поцелуем призывала его она.

В непрестанной истоме взоры из-под, как миндаль, удлинённых глаз, из-под черных, темных ресниц бархатом жутким, синим, в ночи темь впивались властно, сладко, томительно.

Но толстяк пришел, засквозил в темноте и полез на постель, призывая шепотом жену.

Да, она упала в простыни униженно, да, отчаянно она упала, а над ней взволнованно наклонился толстяк – запыхтел и страстью сладкою пылал.

В окно плескал ветер.

Все вскипало там бисерной пеной стужи, как в бокале пьяного шампанского.

Бокал за бокалом вскипал и в окна снегом ударялся.

Она горестно замирала в постылом объятье, навек постылом.

Инженер лежал рядом с ней. Инженер шептал ей: «Люблю я!»

Дрябло прижался в слащавом томленьи к ее жарко-лилейному телу.

Теснее. Тесней.

И она молчала униженно.

Ветер стих. Метель улеглась. И пропел петух.

Странно раздался задорный гортанный крик среди ночного безмолвия.

Еще. И еще.

И везде запели петухи.

И потом вновь поднялся торжествующий хаос, взметая потопом снега.

Первая метельная ектения

7

Мертвые круги проплавающих лиц, скрытность взоров, извороты кривых мыслей – давно узнала она этот страшный кошмар.

Так думала, просыпаясь: золотая, истомленная головка ее поднималась с подушки.

Волнистый дым рубашки пеленал ее тело, когда сбросила тяжелое одеяло с себя, точно золотую порфиру, испещренную пятнами.

Ей в окошко смеялась метель.

Ты, метель, – белый ком, рев снега, хохот пены, шум ветра.

Как сквозная ты птица, как лебедь, взлетела.

Взлетела над колоколом, опрокинутым над нами.

Ясным пером – снежным столбом – брякни в лазурь.

Да: заревет мировой колокол, призывая к всесветной ектенье.

Вьюге помолимся.

Ты, метель, белопенная.

В гладь лазури дымишь ты белым, шипучим снежным вином.

Возноситесь над миром, снега легколетные, снеги пьяные, снеги – шатуны.

Ревом, ревом орари в вышину мечите, диаконы вихрслужения.

Вьюге помолимся.

Толстый пошляк вздыхал сонно, заплетаясь в простыню – спал, все спал.

Зевая, точеными руками она охватила колени.

Белой ножкой ступила на ковер, окаймленный точно горностаевым мехом.

Ей в окошко смеялась метель.

Ты, метель, – белый цвет, облако пуха.

Как большой одуванчик, как сквозной месяц взошедший над миром, бесполезно лазурью пропитанный зимним деньком.

Пухом – колким снегом – выше взвейся, выше взвейся.

Взвизгни кружевным, снежным фонтаном.

Хлестни счастьем, замети.

Вьюге помолимся.

Ты, метель, улей белых пчел: колкими пчелками впейся в море, небесных колокольчиков.

Медоносные пчелки, от голубеньких они оторвутся цветков.

Заползут под воротник, прожужжат о невозвратном.

К вьюге, к вьюге с мольбой свои лица бросайте, руки ей стирайте.

Вьюге помолимся.

Глаза ее огорченно упали на мужа: муж был толстяк. Муж пролетал в пустоту.

Низко плавая, он мечтал о высоком.

Одугловатая, сонная голова его продавала подушку.

Брезгливо слушала его громкие вздохи, точно вздохи кузнечных мехов.

⁷ Ектения – моление, содержащее в себе молитвы-просьбы, обращенные к Богу и завершающиеся словами: «Господи, помилуй» и «Поддай, Господи».

Ах, вьюга, – зычный рог, глас Божий!
Как блаженная весть, ты в сердца нам глаголишь, ты нам глаголишь.
Зычный рог, зычный: уставься на небо и голоси, и проголоси.
Скажи, о, молитвенница наша, о, скорая наша помощница:
«Господь с вами».

Гремите, гремите, рога вихряные!
Громче, громче невесту, громче исповедуйте, громче – невесту-метель!
Се грядет невеста, облеченная снегом и ветром ревучим.
Се метель грядет снегом, неневестная.
Вьюге помолимся.

Золотая утомленная головка ее показалась в окне.
Волнистый, снежный дым взвихрил все пред ней: все пред ней точно засыпал пушистым мехом.

Она любила метель.

Ты лети, белый лебедь, из снега сотканный, лети.
Захлещи вьюжным крылом по лазурному морю.
Крылатый, крылатый, – пой нам, о, пой нам пурговую песню, улетаю к солнцу!
И лебедь поет. Лебедь летит. Поет и летит. Поет и улетаю.
«Ты, солнце, тяжелый шар, – золотой храм мира!
«Золотой храм, воздвигнутый в лазурь...
«Я лечу ко твоим, ко святым местам – к золотым столбам – лучам – ко вселенской обедне!»
Возноси моления наши.
Улетай, лебедь-вьюга!

Сумбур

Адам Петрович шел на шумное собрание, чтобы повидаться с ясным другом, старым мистиком, давно ушедшим в молчанье.

Знакомые абрисы домов высились неизменно. Знакомые саваны мертвецов пролетали снегом.

Знакомые абрисы домов из-под них высились неизменно.

Говорили о том же, все о том же...

Все уйдет. Все пройдет. Уходя, столкнется с идущим навстречу.

Так кружатся вселенные в вечной смене – все в той же смене.

Столб метельный мелькнет, снег взовьёт, снег вздохнет. Столб сольется с пургой, взметенной навстречу.

Так кружатся столбы в вечной смене, в снежной пене – все так же, все так же, запевают о том же снега.

Мистический анархист встречал гостей. Пожимал им руки.

Вводил в кабинет, озаренный розовой лампадой. Вводил в кабинет, опрысканный духами.

Здесь болтали все так же.

Все кричали. Все дерзали. Потрясал анархист, довольный собой и гостями, золотой, чуть раздвоенной бородкой.

Слегка напоминал он образ Корреджио – все тот же образ.

Столбы метели взлетали. В окна стучали. В окне мелькали. В окне запевали.

Вот анархист безответно любил музыку: слушая прежде Вагнера, словно глаза зеленою горели, как хризолит.

Прежде он рыдал от вечно странных, ускользящих дум.

А теперь – никогда.

Теперь он стал пророком сверх-логизма, сверх-энергетического эротизма, просыпал устами туманы, никому не попятные.

Точно с умыслом. Нет, без умысла.

Брал он голосом гаммы, бархатные, как ковер снегов, слушая метельные гаммы снегов.

От непрерывного улова новинок глаза из-под льняных волос, из-под бледного лба соляриков, планетарников, оргиастов, дионисиастов ласкою улещали вкрадчиво, ловко, расчетливо.

С уст взволнованно слетали сласти, – сладные сласти гостей услаждали.

Нулков притаился в углу, записывал чужие мысли: у него было много записано слов. Он думал: «Пора издать книжечку».

Сбоку сидел старый друг Адама Петровича – седой мистик.

Глубже он, глубже был прочих. Его знание опережало, всех опережало, все опережало.

Недавно он выпустил громадный свой труд – труд, глубоко продуманный, стал колодецем, из которого все черпали.

Камнем он, камнем упал на дно русской словесности (на поверхности плавали книжные щепки).

Труд назывался: «Одно, навек одно».

Он не кричал о тайнах.
Но все тайны он знал.

От времен стародавних, Иисусовых, он собрал бездны гностических мудростей о любви, из-под хаоса криков утаил под личиной он любовное о Христе знание, властно, мудро, настойчиво.

Не стал во главе. Не читал лекций. Говорил: «Конец идет».
Одиноко держался седой мистик от всеобщего гама. Ждал.
Еще. И еще.
Но кругом бежали в пустоту.

А кругом стоял шум. В статьях вопили: «Мы, мы, мы!»
Но странно у старца горела в глазах заря новой жизни.
Вот. Все еще.
Но нигде не брезжил свет.
Кругом пускали мистические ракеты. Собирались в шайки.
Мистические болтуны болтали неизменно – говорили о том же, все о том же. – Что дерзнут, что мир лягут: встанут на головы грозить пятками миру.
Так сходились у мистика – анархисты – болтатели в вечной болтовне.
Златоволосый анархист точно вздыбился над головами гостей.
Рой голов подобострастно склонился пред ним, и слова его зацвели и отгорали.
Его руки то взлетали, то падали на стол, а копьё ледяное стучало по окнам.
Кричал, наступая на всех: «Кто запретит мне все перепутать?» Нулков взвыл: «Ну, конечно, никто!»
Схватил словарь Даля и подобострастно подал златобородому мистика.
Снежные мстители прилипали, вопя, к окнам.

Красные снопы лучей падали на всех. Яркими пятнами падали на лица.
Так горсти пятен рассветали и отгорали.
Старый мистик то проливал на стол седины, то шептал Адаму Петровичу:
«Промчался золотой век скромности. Кто может теперь вернуть мне былое?»
«Ну, конечно, не крикуны!»
«А все Тот же, все Тот же зовет нас туда же!»
Нервно закурил и бросил под ноги горсточку пламени на спичке.
И стая прыснувших дымов ароматно всклубилась из-под сигары в синем бархате вечера.

«Никто не знает, что творится в умах.
«Ослепли. Погибают, и призраки смерти обступят со всех сторон.
«Говорят о том же, все о том же – говорят о любви и не знают любви...
«Линию глубины превращают в точку на плоскости.
«Лабиринта глухие стены: Минотавр ждет!»

И пока шумели кругом, Адам Петрович открывал ему душу: «Я люблю ее».

«Всякая ко Христу любовь приближается! «Уноситесь же, милый, на Христовой любви, как на крыльях...»
«Вам дано: о, дерзните, желанный!»
«Вы на смерть пойдете!»
«Чем нежнее любовь, несказанней, тем грознее, ужасней встает ненавистное время во образе и подобии человеческого...»

«Вы любите свято, о, бойтесь, желанный: третий встает между вами!
«Странно зовет священная любовь на брань с драконом времени.
«Зовет. Все зовет...
«Все победит любовь!»

А сбоку кричали: «Чем святее, несказанней вздыхает тайна, тем все тоньше черта отделяет от тайны содомской.

«Подле белизны, лазури и пурпура Христова вихрем соблазнов влекут нас иные пурпуры⁸.

«Ангельски, ангельски в душу глядятся одним, навек одним».

Вздрыбился над домами иерей – вьюжный иерей, белый.

Заголосил: «Соблазн разрушается!»

Замахнулся ветром, провизжавшим над домом, как мечом.

«Вот я... вас... вот я!

«Моя ярость со мною!»

И блистал он снегами.

Перед ним, над ним, вокруг него зацветали огни: за ним мстители-воины, серебром, льдом окованные, поспешали.

Яро они, яро копьями потрясали – сугробы мечами мели, мечами.

Точно две встречные волны, столкнулись два эстета в темном углу.

Один Шептался с другим. Да, с другим.

«Вы все тот же, вы милый, тот же вечно желанный!»

«Все тот же».

«Вы – мой отсвет улыбок, мой бархат желанных исканий».

«Вы прекрасную любите даму. Да, нет – полюбите меня».

«Полюбите меня».

«Чем нежнее черные кудри к челу вашему льнут – тем смелее, тем настойчивей люблю я, люблю».

Вот и губы эстетов змеились запретной улыбкой. Да, запретной до боли – змеились, змеились.

Так.

Вскипела в окне, плача гневно, – летела, снеговая царевна.

Так гневно, так гневно склонил, опустил глаза: точно его распинала, крестная его распинала тайна.

Точно рвался с кипарисного дерева, рвался.

Ах, да, да! Ему говорил старый мистик: «Они и о тайне, но в тайне и их уязвил соблазн».

Адам Петрович встал. Встал – скорбно губы застыли изгибом.

И встал...

Руки поднял, заломил, опустил: хрустнули пальцы,

И застыли губы, застыли.

Пусть: застыли.

Возвращался домой. И роились рои: у фонарей рои роились, – и у ног рои садились.

Роились.

⁸ *Пурпуры Содомы и Гоморры* – Содом и Гоморра – в библейской мифологии два города у устья реки Иордан, жители которых погрязли в распутстве и за это были испепелены огнем, посланным с небес.

Белый бархат снегов мягко хрустел у его ног: ах, цветики блесок цветились и отцветали. Его глаза то цветились, то закрывались ресницей, и парчовая борода покрылась бархатным инеем.

Прохрустев мимо ее дома, в золотой смеялся ус:
«Кто может мне запретить только и думать о ней?»
«Думать: да, – о ней».
Бежал, бежал – пробежал.

Невидимый кто-то шепнул ему снегом и ветром:
«Думать о ней? Ну, конечно, никто».
Снежно поцеловал, нежно бросил – бросил под ноги горсть бриллиантов.
Бросил.
Стаи брызнувших искр, ослепив, уж неслись: неслись – понеслись из-под ног в белом бархате снега.

Кто-то, все тот же, долго щекотал, ярко, слепительным одуванчиком – да и все затянул: все затянулось пушистыми перьями блеска, зацветающими у фонарей.

И перья ласково щекотали прохожих под теплым воротником.

Вьющий был ветер, поющий, метущий: волокна вьющий.
Среброхладный цветок, неизменно в небо вращая, припадал к домам.
Облетал и ускользал: и ускользал.
Пусть за ним ускользал и другой: ускользал и другой. Пусть за ним поднимался еще, и еще, и еще...

Все рукава, хохотом завиваясь, падали на дома, рассыпались снежными звездами.
Алмазили окна и улетали, летали.

Дали темнели. Летали дали.
«Только и буду жить для нее».
Лежал в постели. Пробежали думы. Открыл глаза.
Пробежали пятна света на потолке: это ночью на дворе кто-то шел с фонарем.
Другие думы осенили его – его другие думы; «Ищущий – я: а она? Да, да!»
Открыл глаза. Набежала слеза.

Пятна света по потолку бежали обратно: убегали невозвратно.

Гадалка

В комнате, обращенная к треножнику, гадалка махала синим шелком.

Это яростно гадалкино разметалось по комнате платье, когда страстно протянула она к Светловой свои цепкие пальцы; властно вещи свои, роковые объятия.

Прозрачное, как облако, лицо Светловой было измождено в ней горевшим восторгом.

Очи – томные токи лазури – точно острые синие гвозди, – они уходили в гадалку.

Подавали друг другу руки и сказали о невозможном.

И сказали утомленно; кому-то послали ласку, ласку сердца.

Чем восторженней ей дышала о милом Светлова, тем углям поклонялась бесстыдной гадалка, тем настойчивей на синем взвихренные плясали черные на ней кружева, как взметенная в небо пыль.

Грешные помыслы их вырастали: «Яркие встречи ваши снятся мне в углях, вырастая и тая дымом, дымком».

Грешные помыслы, что томили Светлову, вырастали и таяли, таяли, вырастали, как тени их, заплясавшие тени их на стене.

Окропили бархатно уголья; то склонялись над жаром, то поднимались.

Красная сеть пятен: как ярко-воздушный зверь, свои на них полагал летучие лапы.

То склонялись, то поднимались. Свет свои на них полагал лапы.

Пурпуровый отсвет то полз снизу вверх: то отсвет полз сверху вниз.

На Светлову глаза поднимались гадалки страстной темью, опускались, страстной темью сверкали, страстной и погасали темью.

Худая гадалка привораживала душу его страстной темью, припадала к треножнику страстной темью, поднималась и застывала.

На груди ожерелье звякнуло, свесилось к полу с груди, от груди прыснуло блеском и отгорело.

Гадалка сказала:

«Тайны сладость, тайны сладость – потому что на вздох еще до встречи он отвечал вздохом, на желанье желаньем. Он всю жизнь вас искал»

«Вы – его.

«До встречи молились друг другу, до встречи снились. Сладкая у вас, сладкая любовь. Но кто-то встанет меж вами.

«Только молитва ангелу, только умное деланье, только ворожба зажженных лампадок образ осилит рока между вами.

«Вы молились ангелу. Увидели его. Поняли.

«Что он не живой, он – ангел.

«Вот завели вы себе, живой завели образ: для новых дел завели.

«Он, только он. Вы сгорите в яростной страсти. «Только»,

Светлова стояла грустно, задумчиво, тихо.

Гадалка – с кокетством, грешной мягкостью – поднесла к лицу ее набеленный, морщинистый лик.

Светлова спросила взором, а гадалка с кокетливой мягкостью только сладко поводила глазами – только. Одна просила успокоить, только другая ее истерзала.

Только взором впились друг в друга.

И два помысла их сопряглись в чудовищном искусе.

Два умысла.

Только встало во взорах старинное, вечно грустное.

Только встало. Все то же...

Вдруг губы старухи ожгли лицо красавицы, лучась грешной улыбкой. Цыплячьей рукой, точно птичьей лапой, тихонько погладила ее, тихонько ее пурпуром дыхания жгла.

И Светлова с ужасом отшатнулась.

Бешеный иерей над домами занес свой карающий меч, и уста его разорвались темною пастью – темным воплем.

«Задушу снегом – разорву ветром».

Спустил меч. Разодрал ризы. Залился слезами ярости.

И падали слезы, падали бриллиантами, трезвоня в окнах.

Взлетел.

И с высей конем оборвался: потоком снегов писал над городом.

Город

Тень конки, неизменно вырастая, падала на дома, переламывалась, удлинялась и ускользала.

Ветер был выжженный, бодрый.

Кто-то, знакомый, сидел в конке. Пунсовый фонарь отражался в тающем снеге,

Отражение мчалось на снеге, – на талом снеге спереди рельс.

Чертило лужи пунсовым блеском: дробилось и пропадало.

Тень конки, неизменно вырастая, падала на дома, переламывалась, удлинялась и ускользала.

Толпы людей, из домов выбегая, бросались в метель, снегом дышали, утопали и вновь выплывали.

Кто-то, все тот же, кутила и пьяница, осыпал в ресторане руки лакея серебряными, ледяными рублями: все проструилось в метель из его кошелька, и метельные деньги блистали у фонарей.

Проститутка, все так же нападавая, тащила к себе, раздевалась, одевалась и опять выбегала на улицу.

Подруга клонила к Светловой своей шляпой с пышными перьями, прижимая муфточку к лицу, ей лукаво шептала.

Светлова, клонясь к головке подруги шляпой с пышными перьями, ее меховой руки коснулась маленькой муфтой.

С лукавым смехом клонились друг к другу пышными перьями, оглядываясь на прохожего, ласково и бесстыдно.

Да: в магазине модного платья они утопали в шелках и атласах, то ныряя лицами, то вырастая.

Грустный призыв, из пурги вырастая, бил снеговой струей, сердце ласкал, уносил, уносил.

Его бледные руки тянулись в пургу, как и в детские годы когда-то.

Улыбались друзья. Он не видел друзей: пробежал мимо них куда-то.

Будто звали его, как и в детские годы, куда-то.

Третий

Седой мистик клонился, как метельный старик, из бледных вихрей, и леденелая трость хлестала по мостовой. Адам Петрович клонился в метелях, и леденелые десницы упали к нему на плечо.

Снежные руки хрустальных скелетов то замахивались над ними, то просыпали белоградскую дробь.

Мистик сказал:

«Метет: снежный дым времени метет образ рока, и снежные кудри его вам проведают в лицо».

Пропел в пурговом хохоте: «Кто-то встает между ею и вами».

Побежал навстречу почтенный полковник.

Пели крылья, шипели, вскипали, и почтенный полковник рвался в пургу бобровым воротником.

Да, вот – бритое лицо вывихрилось на них из бело-цветных облаков снега.

Вывихрилось из снега.

Вот полковник накрыл старца-вьюгу бьющим крылом шинели; смеясь, покосился – смеясь, покосился.

Смеясь, покосился.

Над домами вихряной иерей конем вздыбился, конем вздыбился.

Вздыбился.

Снежный дым яро клубился, у его ног клубился, и горсти лучевых молний снежных зацветали и отгорали.

Его руки копьём то замахивались, то потрясали копьём, и копьё, ледяное копьё стучало по крышам.

Кричал в вихряной ярости: «Кто пойдет на меня?»

«Затоплю, проколю его, иссеку колким снегом».

Пеной вскипал и пену разливал на прохожих, пену.

Точно стаи брызнувших копий слепительно просверкали из морозных дымов снега.

Полковник стоял среди них, точно из снега сотканный, запорошенный.

Только сказал: «Метель завивается».

Махнул фуражкой, взлетевшей над головой Адама Петровича, как бы угрожая: «Вот тебя... я на тебя!»

«Вот я».

Повел он плечами. Убежал в снега. Перед ними плясали снега.

Вышел из снега и ушел в снег.

Вздыхнул над домами иерей – клубящийся иерей, взметенный.

Взревел: «Все разрушается».

Замахнулся ветром, провизжавшим над домами, как мечом: «Вот я: на вас».

«Вот я».

И снежил он парчами. Засквозили снега. В них он промчался.

Вышел из снега и ушел в снег.

Мистик сказал:

«Вот полковника занес над вами рок, как меч карающий.

«Бойтесь его: вот бойтесь полковника».

Бешеный иерей надо всем занес меч свой карающий:

«Задушу снегом: разорву ветром».

Это был метельный иерей, конем вздыбившийся над домами, – в бриллиантах, отгоравших... и зацветавших.

Это лдяные руки его грозно копьём потрясали, в окно стучали.

Точно вихряною мезтью рассыпался, вновь вставал. И вновь рассыпался. И несся лес копий всадников старинных, вечно метельных, мстителей все тех же.

Вторая метельная ектения

Шел в снегах ясный странник.
Морозный бархат похрустывал у его ног и горстями бриллиантов по снегу разлетался.
Но покинутый город то грустно обертывался, то вздыхал и нес в просторы молитвенный мед.

«Там взроился мой улей. Они там меня ждут, только и думают обо мне».

Ветер вздохнул: «Ну, только ждут».

Поцеловал: ах! – бросил под ноги золотой рой.

Бросил.

И стая солнечных пчелок ринулась на него: облепила золотом ноги.

В Тебе, Господи, – снег, в Тебе, Господи, – счастье. Небом Ты – лебедь, небом Ты – белый, смертью смерть поправ. Ты над нами восстал.

Перьями бей в лазури, снегами риз – провей, одари. Да: пропоют снеговые псалмы на метельной обедне. Господу помолимся.

Кровь заката багряная вином снежным вскипела: причастники, приступите.

Проливайся, пена метельная, пена метельная, пена.

Проливайся пена.

Гласы, гласы свои над землей изрекайте, о Господе воздыхайте!

Орари, диаконы, —

орари бросайте, в небо бросайте, диаконы снежные.

Господу помолимся.

Ясный странник пришел в лес.

У избы мягко он постучался; там в окнах бриллианты огоньков зацвели горстями и разбегались.

Это старицы то зажигали свечечки, то раздавали молитвенникам световые пучочки.

У двери его вопрошали:

«Кто там стоит при дверях и стуком просится?»

Странник сказал: «Я – ваша радость».

Руки на них возлагал и в виссон облекся белый⁹.

Ах, стая огненных пчел вылетала из кадила, когда он вздул его!

Ты, Господи, Ты – неотцветный, Господи, цвет.

Ты, Господи, – снегом, снегом Ты проходишь: снег так лазурью пронизан, как плоть неба оком.

Снег так лазурью пронизан, как сквозной одуванчик.

Так снег пронизан.

Сквозным, белым одним кружевом.

Иных одежд не знаем, вьюгу разумеем.

Вьюге молимся.

Улей видим воинов белых: медоносные пчелы Господни: сладкий они, душистый они, с душ мед, – молитвенный мед они собирают,

⁹ «...и в виссон облекся белый...» – виссон – драгоценная тонкая и легкая белая и пурпурная льняная ткань.

Вьюге, вьюге сердца ваши, верные, открывайте, жадным пчелам сладость молитвенную передавайте.

Пчелы, несите вы мед в улей, несите; и ко Господу все с мольбой усердно припадем.
Ты, Господи, Ты помилуй.

Царственный странник, ясный.

Взял благочинно он книгу, ее вознес и ей сердца окропил.

Ниц молитвенники падали.

Ринулись к полу горячие свечечки, точно под ноги ему бросили горсть бриллиантов.

Но он не упал.

В золотом от свеч воздухе то повертывался направо, то налево и замахивался кадилом.

О Тебе, Господи, тайна и, Господи, о Тебе слово вихрем благим нам в сердца глаголет.

В облаке снежном, во столбе, во метельном, к нам сойди, к нам.

И нам, нам скажи: «Я – с вами».

Нам скажи.

Жениха громче исповедуйте, громче, – как снег, белого, громче.

Гремите, гремите, ах рога вихряные!

Громче вопите, громче, все вопите громче: се во снег оделся жених, се грядет метелью.

Гряди, метель, гряди!

Странник читал им неведомую молитву:

«Се в небе не лебедь, как из снега сотканный.

«Се не лебедь, а солнце.

«Господи, – Солнце наше.

«Метель сердца обуревают наши, чтобы молитвой и снегом окурить Престол Светлый.

«Прими, Солнце, моления наши и, о, Господи, возьми нас к Себе!»

1906 года,

Серебряный Колодезь

Часть вторая Сквозные лики

Мраморный гений

О, вода, – рев пены, о, серебряное кружево!
Над бассейном, как птица сквозная, ты брызнула петом.
Брызнула летом: стала хрустальным щитом. Изнемогла, ниспадая трескучим хрусталем.
Ах, хрустали!
Гремите, гремите, хрустали золотые!
Громче гремите, хохочите громче, гремите громче – падайте фонтаном, падайте!
И брызгами смеха оплакивайте восторженно.

Из-под сквозных хрусталей, кружевных, кружевных, сквозных, белая грустная голова, замирая, плыла над брызгами мраморной глыбой.

Из-под хохота, водного хохота, хохота он восставал, точно рок, обезумевшим лицом.

Белый ниспавший хитон, расшитый фонтанными перлами, точно струился на старом. Из-за перлового водного тока он выплывал большой головой, белой, в горьком порыве, как неизменное время, восшедшее смехом мгновенных потоков: водяных, вверх взлетевших, мгновений.

Спереди казался мраморным императором, увенчанным серебряным венцом лавров.

Широкое чело вверх убегало лысиной, с темени метущей струйные снега седин.

Громадный его силуэт в сверкающем бледном хитоне, как геройское изваяние, снежно тускнел из водометного тока.

Из-за трескучего плеска бледно веяла седина, бледно веяла шапочка: бледно веяла шапочка одуванчика императора мгновений.

Из-под вздернутого носа, из-под широких ноздрей улыбались блеклые губы туманному времени.

Безусый напудренный лик не то женщины, не то гения, как томный утренний месяц, вошел над фонтанными брызгами.

Отраженный измученный лик, воздушно упавший в плески и стекла, там мертво плясал и там кивал насмешливо.

Стальной зубец, копьё времени, сжатое пальцами, перьями сверкало светлых блесков, и у стального зубца, копия, вздыхала мертвая голова.

Воздушная груда годов отпылала на перлах, а он стоял, неизменный, а он стал тот же, в перловое время облеченный.

В пурпуре, в пурпуре роз, тускло горевшем из перлов, как в ореоле огня, лицо мертвенело, лицо: горькое, его мертвенело, как лик воздушного месяца, бесполезно лазурью пропитанного летним деньком, и как горсть оледенелого снега, обтаявшего лазурью по краям.

Фонтан – мраморный лебедь, разметнувший крылья и из зева бьющий хрустальным временем.

Лебединая песня хрустального времени.

Смех изливаемых слез, серебринок, слезинок; детская грусть, и переливная, вечная грусть.

Фонтан – мраморный лебедь, разметнувший крылья, чтоб из зева струить в поднебесье хрустальное время.

Полковник Светозаров стоял там, как гигант, в утреннем халате, испещренном пятнами света, и с копьём вместо трости.

Из-под черных, темных бровей серые горькие очи уходили в пространство: тонули уныло; грустный, он казался сбоку щукой, из воды глядящей на солнце: не простой, а среброперой.

Из-за вод, из зеленых кустов, из-за пурпуровых кистей спереди он возник и, как большой мраморный зверь в металлическом венке, он бросался в водопад солнца.

И казалось, это – время, это – туманный триумфатор: – вот что тянулось из перлов, из плесков, из солнечных листьев.

Вот что.

Слезные тучи цветов (тучи старинных порывов) рукой обрывал полковник и перстнем чертил на кусте алмазный зигзаг.

У мраморной арки сидела его мать, склонясь над вязаньем, – столетняя женщина, многолетняя.

Казалось, что это – пунсовое платье и шаль из пуха.

Казалось, что это – багряная с головой одуванчика карла.

В скорби, поникла она пунсовым лоскутом, лепестком, о, раздавленный на песке настурций!

Там перед ней, как большие аккорды, как большие, взлетели колонны: колонны мраморной арки, озерною синью бесполезно объясненные.

Бледнел месяц, – грустил сквозной одуванчик, сквозил бесполезно лазурью летним днем.

Свистки ветра – гульливые колокольчики – колкими над пихтою вились пчелками, над пихтою вились.

Взвизгнула укушенная пчелой, сквозная, от старости кружевная, старушка.

Хлестнула огненной лопастью и над раздавленной колючкой, мертвяная, изогнулась.

Из-под хрустального тока над миллионами брызг опрокинулся старый полковник, как старинная старина над безысходным исходом.

Из-под лебединого зева хрустальный фейерверк, плача золотым водометом, низвергался на мрамор.

Из-под застывшей жизни старый Светозаров, как большой горюн, руки любви протянул.

Из-под складок времен любви его выплыл лик, ее лик: как из облака солнце. Манил и звал.

Манил и звал.

Из-под хрустального кружева брызг в водопад из ветра и солнца он бросался ловить ее взгляды, улыбки.

Видал – в сверкающих струнах солнца в вышине понесли перистые клоки бледноозаренными лилеями: в вышине ее руки неслись, ее.

Так: она играла на солнечной арфе.

Так: неслась мимо ее, мимо, струнная песнь.

И старушка скорбно поникла там вдали, точно плакались багряные перья ее капота, отмахиваясь от будущего.

Так: кидался Светозаров в водопад солнца, упавший с неба скалы голубой:

«Слышу, слышу. – Это ты кому-то сулишь воскресение, потому что ты любишь кого-то.
«Довольно, – потому что скоро ваш смех облетит, пролетит.
«Пора, – потому что солнце сядет: потому что оно сядет, когда иссякнет любовь».

Там, чуя, старушка в страхе зажмурила очи, – и солнце ей взор пронзило иглами: в глазах ее танцевали нежные павлиньи перья.

Руки его, неньфоры его, протянулись коварно вперед, коварно блеснув бриллиантовым перстнем, как бы коварно грозя сопернику.

Груды столетий низвергались хитоном с его плеч – груды лет, отемненных разгулом, – и он своим тряхнул копьём.

Струевая ткань перламутра оковала его руку: он не мог разбить перламутр фонтанного смеха.

Тысячи серебринок взметнулись над полулысиной как бы в ужасе, будто взвевая в воздух, взбитая ветром водичка.

На него изогнутой шеей точно кинулся мраморный лебедь и обдал студеным треском секучих хрусталей.

У полковника ширились очи, двумя властными изумрудами сверкнули, когда ужалил копьём белокрылого он лебеда.

Каменный лебедь, с золотой колонной трубивший из зева струю, он также жаловался на время:

«Не тебе жена, не тебе, не времени.

«Не тебе жена, не тебе, а мне жена: мне солнце,

«Не тебе, а мне».

Вытянул шею, кричал – и кричал:

«Это я ей жизнь – крылатый ангел. Это я ей неизменно.

«Это я – призывающий от времени.

«Я, я: это – я».

Так: лучами солнце звякнуло в вышине, как легли на них – на них, на лучи, облачные руки ее бледно в лазури истекающими лилеями.

Так: на бирюзовой порфире неба прыснули золотые шелка волос.

Так.

И она крикнула: «Ты, лебедь, ты, – белый, ты: лети ко мне, из снега сотканый.

«На моей ты бирюзе хлещи поднебесным пером.

«Крылатый, крылатый!

«Ты пой, улета!»

И Светозаров потрясал копьём, восклицал:

«Страсть, – ударное горе: седая страсть, – обманщица, смерть.

«Лавинный рев, прогрохотавший пустотой».

Белый старик прозял в зелени, испещренный золотыми пятнами, точно тело бросили на него золотое, – золотого воздушного гепарда.

До пояса струйная борода и синью секущие взоры бросались в кусты из-под соломенной шляпы, когда он к бассейну шел в своем летнем сюртуке.

Это был знаменитый мистик; простился с пространством: ведь хотел кануть в затворе.

Золотой ярый гепард, возникавший из пятен эфира, полагал ему на грудь свои воздушные лапы, и они, будто ветер, терзали сюртук старика.

Но старик раздвигал свисающие кусты, и воздушно-золотой гепард разрывался тенью и светом.

Вот, как серебряная ткань, борода его провеяла, как белый прах, летящий с дорожки.
На нем сеточка золотая сквозь липы плясала, солнечная.

Пора, скоро солнце все охватит и станет жарко.

Его встретили дети криком: «Здравствуй, здравствуй. – Это ты там вскочил белым песочком у входа в сад, потому что там от ветра пляшет песочек?»

Сказал им, шутя: «Да, да».

Скоро упорхнули дети в бледно-розовом – в кисейно-розовом.

Вот, как лилии, из газа выросли ручки и на них села бабочка, анютин глазок.

Вот, как мудрая смерть, влекся уставший мистик к полковнику Светозарову, бормоча:

«Пора, – пора сдернуть покровы двумысленности. Налететь ветром: обличить смертную тайной.

«Пора – потому что иначе будет поздно».

Из-под клокочущих, пляшущих слез, из-под жалобой изрыдавшейся ткани водной они сквозили бледно-протянутыми силуэтами.

Громадный гигант, как охрусталенная статуя, в глубоком безмолвии взвил свое засверкавшее копие, а рука его судорожно взлетела к лицу, и из закрывшей лицо ладони высилась зубчатая серебряная корона его седины, да выдавался вздернутый нос и сверкавшие зубы широко раскрытого рта.

Так он стоял, как хрустальный король; и в бассейне он же плясал, зубьями короны взрезая водную синь.

Из-под струй упорно костенел надменный пришелец, и борода его теперь заклокотала пенным водопадом в бассейн.

Глаза его, бесстрастно воздетые над серебряным гением, холодно измеряли с ног до головы: будто спокойная смерть, искони побеждающая безысходное, измеряла время. Их туманные очертания точно плясали под вскипевшим слезным потоком.

Но это только казалось.

Из-под кружева времен, как из-под кружева воды, они говорили неизвестно о чем, как конец с бесконечностью, как безвременье с временем.

Вот бледно-изваянный гигант, как мраморный рокоборец, укрывая на груди пришельца безбородое лицо, схватил его руками, стараясь оборвать в клокочущее время бассейна.

Но это только казалось.

Светозаров упал на мрамор бассейна, окунул лицо свое в струи, проливая перлы слез и обливаясь перлами, а старый мистик, костеня бесстрастно, воздел свои очи в небеса.

Но казалось, что он пролился бороною в бассейн, изошел белой пеной каскада, потому что полковник был один.

Тогда красная сутулая горка разорвала зеленую завесу кустов, и под красной горбатой спиной, как под вершинкой, качалось морщинистое лицо в ореоле лионских кружев.

Она метала в полковника очковые глаза, и со стекол брызнули в него тысячи солнечных иголок.

Светозаров ей говорил: «Опять волнуетесь, матушка. Ничего – это прощался со мной известный мистик, покидающий наши края, чтобы уехать в монастырь».

Как большой одуванчик, взлетевший над старушкой, колко бритым лицом он прижался к руке матери, снежным фонтаном волос над носом ее провеял, словно туманный лик безбородого гения времени в ореоле серебряных листьев.

Из-под смеженных ресниц головы, упавшей на мраморные перила, уставились слезой увлажненные изумруды, и из бассейна он же лукавым страхом себе подмигивал.

Его белый халат пролился на бассейн мраморными складками, и весь он казался статуей-гением, изваянным у бассейна.

На бледно-мраморном очертании изломанный сук пурпуровых роз качался и пылал яркими пятнами.

Так сидел изваянный гений, испещренный пятнами крови, хрустальным очертанием. Из бассейна, где словно канул строгий пришелец, взревел кто-то пенный, и его струистая борода развевалась в небо водяным дымом.

У его ног плясала яркая сеть солнца, как большой золотой леопард.

Воздушный леопард кидался лапами на грудь венчанному гению, но он не поворачивал головы к золотому зверю, замурлыкавшему ветром.

Гремите, гремите, хрустали водяные, гремите, все гремите громче – хрустальным зонтом заплясавшие хрустали!

Зацветающий ветер

Над многоствольной рощей встал сноп благоносных светов и улетел в бирюзу.

Пал на березки: лег под березками в одну лучистую сеть.

Березки качнулись: и все пропало.

Ты, березка, – зеленая солнечная сеть.

Бросила в ветер вершину: солнце попало.

И золотые рыбки запрыгали у корней.

Ты, солнце, – клубок парчовых ниток.

Встало: стали разматывать – и парчовая желтизна сквозной паутиной опутала луга и леса.

«Здравствуй, здравствуй.

«Это я прилетел вздохнуть о воскресении, потому что все воскреснем, потому что все увидимся там».

Открыла глаза.

В сверкающую щель ставни рвалась светозарная струйка и ложилась на стене бледно-странным, узорным пятном.

Слышался глубокий вздох, который давно начался и не мог кончиться.

Это шумели деревья.

Это был день большого ветра.

И сиреневые кусты, охваченные ветром, утишали грусть и точно все спрашивали о чем-то.

И она, охваченная ветром, раздвигала кусты и точно рвалась куда-то.

И сиреневые кусты, охваченные ветром, отмахивались от невидимых объятий и поцелуев.

Ходила в саду, усмиренная – неподвижная.

Она ходила в кружевной шляпе, точно солнце в белопенных облачках.

Замирала, осыпанная солнечными колосьями – звонко певшими струнами.

Обрывала, осыпанная цветами, солнечные колосья – звонко певшие струны.

Замирала, осыпанная оборванными звуками – солнцем и воспоминаниями.

Бирюзовым шлейфом, озеру подобным, точно рвалась из времени, и руками точно отмахивалась от дней.

Довольно.

Скоро он заблестит – прилетит.

Губы ее пирно-сладкие засохли, шептали призывно, как ветерок.

Пора, – потому что он прилетит и в нем угаснет время.

Пора, – потому что воздух сквозной, как арфа с натянутыми золотыми струнами.

Пора, – потому что он проведет руками по солнечным струнам и споет ей свою лебединую песнь.

Нежданно пух, точно снег, у ее ног мелькал, взлетал.

К нему она тянулась, к нему.

Потому что он скажет ей слово, и совется золотое время.

Так шумели деревья.

Такой был день большого ветра.

Так блаженно взмывалась взором в пространство, где тающее облако точно отмахивалось от пролетов медового ветра, удивленно лепивших его, и точно дышало пухом в бирюзу.

Там кто-то милый, милый звал его, как и в детские годы, куда-то:

«Здравствуй, здравствуй.

«Это над тобой я вздохну о воскресении, потому что все воскреснем и увидимся там».
И его она удивленно точно спрашивала о чем-то.

Солнце!..

Везде оно, солнце. Золотое солнце. Милое солнце. Солнце-кольцо.

Солнце!

Скорей струны света протяни, златовейные струны, солнце, везде натяни!

Вот парчовой желтизной, как сквозной паутиной, коснись, как фатой, пролети над морем деревьев.

Золотой фазан, коснись своими червонными перьями!

Напои светом утренним!

Скоро солнце иссякнет и опустится на запад.

Так, сгорая, прейдет, образ мира сего.

И надвинется незакатное, бессрочное. Скажет:

«Пора и мне в этот старый мир».

Солнце, солнце, это ты сетью качнешься под березками, потому что ты утонешь и отсветы пролетят.

Это твои золотые рыбки из березовой сети, блистая, прольются в океан.

Адам Петрович гулял, задумчивый, легколетний от восторга, как птица.

Бирюзовое озеро, словно порфира царевны, словно легкосафирный сон о ней, волновалось у ног, то чернея, то золотея.

И на нем бежали белопенные гребни.

Точно на волны бросили серебряного лебедя с распластанными крыльями, и вот он плыл к горизонту.

За ним тянулась цепочка из серебра.

Стрекозы неслись... Хрустальные крылья тонули в небе.

В светловых сетях воды билось солнце, точно пойманный улов рыбы.

А она бродила в пространствах, то белея, то вспыхивая о нем.

И на бирюзовом, как озеро, платье серебряный лебедь – поясное зеркальце, привязанное к цепи, – казалось, плавал, когда она играла цепочкой, точно отмахиваясь от объятий и поцелуев.

И сквозные пуговицы, точно стрекозиные крылья, блистали хрусталем.

И он шептал: «Пора мне узнать ее.

«Пора сдернуть покровы, взглянуть в лицо.

«Сказать о Слове.

«Наша жизнь – пролетающее облако.

«Вот, как белый лебедь, несется, несется.

«Она, как и я, теперь видит лебедь – облако, потому что над нами оно вошло в неизменное.

«Оно плывет: плывет и поет».

Так, истаяв, пройдет образ мира сего... на родине... на неизвестной родине.

Ты, облако, сквозной клубок пушинок.

Вошло: ветры стали развеивать, и пухом оно задышало в бирюзу.

Ты, облако, большой сквозной одуванчик.

Вошло: ветры стали развеивать, и оно протянулось фатой снежинок.

Но встал ток большого ветра, большого медовича, и очистил от пуха небеса.
Пал на одуванчик и обвеял: и погнал прочь по лугу бледно-свеянные шапочки.
И шумели деревья.

И был день большого ветра.

И сторукие кусты, охваченные ветром, глухо волновались, и кто-то над самым ухом его ласково приговаривал.

«Здравствуй, здравствуй!

«Это я прилетела шептать о воскресении, потому что все воскреснем, – милый, мой милый, – и увидимся там».

Обернулся.

Трепетала юная березка, да тонконогий комар, глупо заплясав над ним, из блеска упал и звенел ему на ухо.

И она шептала:

«Воскреснем, мы воскреснем...»

И ветер гнал новое облако, такое же белое, как и истаявшее.

В сверкающих струнах солнца рвались ее руки и ложились на струны причудливыми лилиями.

Сверкающим бриллиантом терзала струны голубая арфистка и клонила к арфе, точно пуская на волю воздушных, звучных птиц.

Это она играла на солнечной арфе.

Это неслась к нему ее струнная песнь.

И там, в пространствах, молчал он, охваченный звуками, не отмахиваясь от звучных плесканий невидимых райских птиц, слетевших к нему и рожденных воздухом.

«Слышу, слышу.

«Это ты мне поешь о будущем воскресении, потому что и ты воскреснешь: мы увидимся там».

Замирал. Солнце взор пронзило иглами: в глазах танцевали нежные, павлиньи перья.

Это были перья воздушных птиц, потому что он открывал глаза, и все пропадало.

Голосами, воздуху подобными, райские птицы звали его на вечный пир.

Невольно, быстро одуванчик с муравы сняла, в воздух сквозную головку улыбочиво вознесла – бледную шапочку сдунула.

Плеснула воздушная шапочка пухом нежным, как вздох.

Она сказала: «Милый, как и все, пусть летит к тебе пух...»

«Пора, – потому что если душа небом, как пухом, не просквозит, солнце в тело не возжжется.

«Пора, – потому что если не все отдать, все угаснет.

«Пора, – потому что мы любим друг друга».

Торопливо шла, охваченная цветоплясом, отмахиваясь от бабочек.

Невольно, безвластно склонилась у водометной струи. Фонтан шептал, блистал:

«Пора, – потому что если не все отдать, все пройдет, все угаснет.

«Потому что солнце сядет, вода упадет скатным жемчугом, и отцветут на струях хрустали золотые.

«Пора, – потому что любовь пройдет, и угаснет жизнь.

«Потому что и любовь упадет в светобойную темень».

Ветер свеял на него бледные шапочки одуванчиков.

Медович, точно поцелуями, снежинкой-пушинкой его щек коснулся.

Шапочки то плескались в воздухе, то садились кружевом на него.

А по озеру бежали золотые кольца: точно на бирюзу воздушная, летняя царевна бросила шелка свои, волоса свои – змеи света, – и вот змеи света ослепительно свивались в разбитом зеркале пляшущих вод.

Стрекозиные крылья тонули в воде.

Лебедь понесся, лебедь вскрикнул.

Вышел на сушу, белый, крылатый. Крикнул:

«Пора и мне».

Вытянул шею и кричал, и кричал:

«Я это – жизнь, улетающая птица, милая, милая.

«Я это – птица – поднимусь тонуть в воздухе».

Лебедь глядел на него неизменным.

Ему казалось, что перед ним образ мира, отлетающий на родину.

Ветер взвевал шелка ее, медовые, точно струи ананасного сока.

Руки ее словно ловили воздух, плавая, то белея, то зацветая светом.

И на платье танцевали волос ее кольца.

Точно на озеро солнце бросило лучи свои – змеи, и они сверкали хрусталем.

Лебедем – поясным зеркальцем – взмахнула, зеркальце цепью звякнуло.

Сверкнуло в воздухе птицей, светом.

Она крикнула: «Пора и мне любить». Она оборвала две золотых солнечных струны и ими сверкала по воздуху.

Вытянула шею, взмахнула руками, сжавшими струны, и точно по воздуху пролетели блестки.

Вытянула шею, всплеснула руками, рассыпала золото волос и пела, и пела:

«Зацелую тебя, милый, сладко-алыми устами моими.

«Люби меня, милый, – я тебе жизнь улетающая птица.

«Птицу лови, а то – улетит.

«Я – в неизменном, я для тебя все та же, все та же, – милый, мой милый».

Ей казалось, что несет их образ мира сего на родину – на родину.

Над березками стоял сноп благоносных светов. Улетел в небеса.

Лег под деревьями светозарными, текучими зайчиками.

Но деревья качнулись. Яблочки побежали.

Все пропало.

Солнце, клубок парчовых ниток, в небе стояло: его устали разматывать.

Но парчовая желтизна сквозной паутиной еще пеленала березки.

Увидел неожиданно.

Скоком на него кто-то летел, блестел.

Вот белый арабский конь, как птица, понесся над морем колосьев.

И опрокинутая на ниве тень вместе с конем плыла неизменная.

Он подумал:

«Это не она на коне несется в час, когда угасает солнце».

Так, качаясь на спине у коня, будто она мчалась в полях образом мира.

Будто опять понеслась – надвигалась безумным видением.

Подумал горько: «Здравствуй, здравствуй.

«Опять не ты пролетаешь дразнить воскресением, потому что ты знаешь, что это невозможно».

Искрометная, как сафирная молния, амазонка рвалась прочь от коня и ложилась на молочной конской спине лазурным пятном.

Слышался конский скачок, который давно начался и не мог кончиться.

Это точно она мчалась мимо усадьбы, где он гостил.

Это была не она... нет, она.

Синие глаза его охваченную скачкой спросили о чем-то, но пронеслась она, точно отмахиваясь хлыстом от его взоров.

Скоро она пролетела. Темнело...

Пряди шлейфа прошептали невнятно, словно лёт воздыхающих листьев.

Темнело – и угасло старое солнце.

И домой повернул, вздохнул.

Голосом, ветру подобным, призывно кликал подругу:

«Пора, потому что когда все пролетит, то угаснет время».

Ты, солнце, – клубок парчовых ниток: село, стали сматывать.

И желтоносная пыль – лучей цветень – метнулась с березок и опылила облака.

Над миром стоял стон благоносных светов. Но он истаял.

Березки метнулись. Цветень угасла.

Воздушный набег

Ландо остановилось.

Негры в красных ливреях словно ниспали с запяток, отворяя дверце: негры-моськи с оттопыренными, как лист пиона, алыми губами, то склоняясь, то сияя яркими позументами.

И из ландо белая встала статная статуя, метнув искряное насекомое серебром.

Ниспали, склоняясь, сияя – негры: встала, метнув искру серебром.

Точно гения, окропленного седыми перьями блеска, одели в китель, стекающий дорожкой искряных насекомых – эксельбантами, – и вот он снял свою фуражку.

Морды коней, ясные отблеском золота, гордо гнулись, когда натянул кучер вожжи.

И полковника Светозарова вели из кареты красные рукава, окружали губастые морды.

Отворились двери. Встретил дворецкий и согнул голову: баки о грудь разбились шумными, пенистыми сединами.

И повел. И повел.

Свели – отворились двери. Дворецкий встретил пенистыми сединами. И повел. И повел.

– Когда ускользал дворецкий, положив карточку на поднос, Светозаров оправил молодечью грудь, где все сияло блеском резных орденов и медалей.

Когда ускользал дворецкий, мраморный профиль гордо вырос среди комнатных пальм.

Когда из волн муаровых драпри выплывал хозяин, струистые завесы дверей, как зеленые колосья, заколебались, и косые лучи солнца, дробимые колосом, побежали на белом пиджаке толстого, как дельфин, пловца, звякнувшего тяжелыми брелоками.

Странно повис и плавал гортанный голос в волнах комнатного безмолвия. Странно качнулась морда дельфина из волн муарового моря. Странно-пухлые плавники трепыхались и бились на чесучовом жилете.

Раздался, качнулся, и бились – странно, странно: качнулся, и бились странно.

Странная, странная странно качнулась головка чешуйчатым гребнем, уйдя в подбородочный жир.

Униженно схватился дельфин плавником за протянутую руку полковника. Униженно протрепетал чесучовой своей чешуей и чесучовыми панталонами. Униженно встречал миллионера инженер Светлов.

Всхлипнули губы насмешкой у гостя – пены шипом, укрытым в сахарной: улыбке. Был он – подводный грот с ноздреватым лицом, с сталактитами, когда всхлипнул шпорами. Дрогнули ноздри, дрогнуло, как хрусталь, ледное, лицо, когда исчертил он дверь, ведущую в будуар, изумрудами глаз, проходя в кабинет.

Дрогнула портьера в будуаре, и оттуда выглянуло лицо юной русалки. Дрогнула юная русалка, проходя мимо затворенной двери кабинета.

Один схватился за руку, протрепетал, встречал; всхлипнул, изумрудами глаз зачертил другой. И дрогнула третья, дрогнула.

Когда белый толстый дельфин волновался, и возмущенный сюртук сквозными шуршащими чешуями точно рвался от сего, то свеиваясь шелком, то развеиваясь, и вдоль малахитовой доски стола бежал на полковника одутловатый лик инженера, припавшего грудью к столу, и, точно умолая, приподнялись пальцы его, испещренные огнями бриллиантов, – тогда лицо Светозарова – месяц, наполненный денежным блеском серебра, – гордо опрокинулось на спинку резного стула и пролились белые пряди его волос, волнующие ветром; тогда слова инженера налетали на полковника, пролетали мимо его ушей.

Точно ветер, разбивались о мраморное изваяние.

А там, в саду, она гуляла.

Колкая пчелка впиалась в ее пальчик-лепесток.

Медоносную пчелку с криком от лилейного отрывала пальца.

Заползет еще под воротник прожужжать о невозвратном.

К милому в воздух, к милому с мольбой свои руки бросала, руки ему простирала, у него помощи просила, ужаленная предчувствием. Ручки простирала, от пальца пчелку отрывала – гуляла, вздыхала.

А когда Светлов перестал говорить, перед ним вырос мраморный гигант с широко раздувшимися ноздрями. Когда он поднялся, положил руку на грудь, там все сияло беззащитно сквозными орденами, точно блестками разорванных тучек на месячной груди.

Когда Светлов подошел к нему, зеленоватые пальмы, под открытым окном, просочившиеся светом, испуганно заматались, залепетали, и косые лучи солнечных огней плясали на них, точно воздушная стая пятнистых гепардов.

Полковник говорил: «Угнетены вы долгами, шатаются ваши дела, и вы то приподымаетесь, то падаете.

«И вдоль вашего прошлого бегут теневые пятна, производя волнение в инженерном мире. Точно: я бросил в ваше предприятие мое золото, а вы прогорели – и вот я могу вас погубить.

«Мое участие в вашем деле будет и впредь продолжаться. Я вам доставлю казенный подряд, и ваша пошатнувшаяся репутация опрокинется в забвение.

«Но вы, ваша жена в руках у меня – и довольно об этом, довольно. В руках у меня: вам больно, мне от радости довольно, и вольно об этом, довольно».

Когда убежало солнце за тучу, воздушные звери улетели в окно.

Когда убежало солнце, на груди у полковника перестали сверкать резные ордена и медали.

Когда они повернулись к двери, изумрудные струи ее сквозного платья, точно зеленые колосья, бросились в дверь, и косые взоры ее, дробимые улыбкой, обратились к полковнику.

Золотые лопасти кружев плескались с ее открытой груди, точно колонны жидкого золота на зеленой, струйной русалке.

К милому в окно свои яркие взоры бросала, душу ему отдавала, его призывала.

А там, в пространствах, Адам Петрович вздохнул, вздрогнул.

Ах, ветер – стонущий рог – о чем ты в уши стенаешь?

Ветряной глас: смотри – буря в небе рвет струны солнца. Рвет и голосит.

Скажи, о скажи, как ей помочь, скажи ей: «Господь с тобою».

Иди же, иди – рог вихряной на бой призывает: рвет и голосит – стенает.

Из-под сквозной хрустальной седины полулысина Светозарова к ее атласной руке склонилась туманным, набегающим, как оболочка, временем.

Изумрудный, ниспадающий ее хитон, испещренный золотыми рыбками, казалось, струил шлейфом зеленую воду.

Предложил руку и повел вниз с террасы, и казался мраморным императором, увенчанным серебряной, лавровой стариной.

Порывы цветов бросались на него в ветре, и эти красные шапки от нее отстранял он рукой, сверкающей перстнем, будто король старины.

Ты лети, белый конь, как из снега сотканный! проголоси, всадник, гибким хлыстом по конской спине!

Храбрый, храбрый, взрезай пространство, уносясь на бой!
И он вскакивает на коня: вскакивает и улетает.
Поспешай, конь-птица!

Светлов – крикливый толстяк, ревом хохота, как смешная птица, как петух, замахал над полковником руками. Каштановый гребень метнул, лапой звякнул в ладонь Светозарова.

И разразился пыльно-пенным потоком слов...

Вскипела, кипела серебро-белая полулысина Светозарова: когда он взором перелетным запенил ей даль шипучим кружевом белогромных облак, – вскипела старина, кипела седина.

Сказал ей, целуя руку: «Возноситесь над нами, как легкая птица».

Под руку ее взял: как нежить, безвластная, шла в порфире она легкоизумрудной, с плеч свеянной кружевом пролетающих листьев, в даях тающих.

Тысячи светленьких игол прыснули с ее стрекозиною стекляруса, но, казалось, что это не блестящие: тысячи это ос ползали на ней и жалили ее, ползая, током.

Наклонил над ней пирно-сладкие уста полковник, истомно-огромное наклонил он лицо: как большой одуванчик, бесполезно изумрудом шелков ее просквозивший, седина его коснулась ее легковонных кудрей. Снежной, колкой шпорой, невзначай, коснулся ее ножки.

И колкие осы, облеплявшие ее блеском, переползли ей в душу, где голубенькие колокольчики о нем звенели.

Заползли под воротник жужжать и жалить. Вот она, израненная током, поводила плечами,

К милому, к милому с мольбой взоры свои бросала, помощи у него просила.
Ему молилась.

Они проходили у каменного изваяния. Крылатый муж опрокинул мраморный лик.
Прямо в небо уставилось отверстие его рога.

И рог грянул:

«Время не терпит. Оно бежит.

«Чаша чарами переполнилась. Как бы чары не плеснули.

«Мир еще никогда не был так опасен, лучезарно обманчив».

Ходили в саду усмиренные, безвластные.

Она была в кружевной шляпе, точно солнце в белопенных облачках.

Замирали у столба, осыпанного веревками, взялись за лямки, натянули их, точно светлые струны.

Полковник сказал: «Невольно —

хочется взлететь на гигантских шагах – взлететь, лететь».

И она надела лямку.

Полковник шутливо заметил:

«Как неизменный круговорот, мы все сейчас унесемся.

«На круги свои потом вернемся.

«Так кружится вселенная в той же смене: так летит образ мира сего».

И они взлетели.

Раздался топот ног, который вдруг начался и не мог кончиться.

Грустя, она ускользала от полковника, точно солнце, ниспадающее в безвременье, а Светозаров, как месяц, плавно летел вслед за ней.

Это был полевой иерей, конем белым в даях вздыбившийся – в росах алмазных, с плеч ниспадавших... светляками зацветавших.

Это тонкие руки его грозно ветром кидали, ствольные деревья ветром качали.

«Кто за Содом... Скачу... Вот я...»

Точно вихряною мезью деревья, точно с ревом – сторукие – на полковника кидались.

И вновь замирали.

И несся топот всадника, несся – всадника старинного, полевого: жнеца нивного.

Точно смерть, круто над ней изогнулся в воздухе полковник, безмолвно ей говорил:

«Здравствуй, здравствуй!

«Это я, – время, – несусь за тобой шептать о смерти, потому что все умрем и протянемся в гробах».

Обернулась, пролетая вниз.

Над ней плясала седая смерть, пришпоривая ногами золотого, пятнистого зверя звякнувшим сапогом, над ней ниспадала из вечернего блеска.

Это был полковник.

Вдруг она крикнула: «Довольно, мне больно... О, довольно!»

Замахала, будто борясь в воздухе кружевными листьями веера с временем, и ветер плеснул на седое время, ароматный, медовый.

Замахала липа с кружевными листьями, борясь с огнем солнечным, и зверь прыгнул в чащу из-под ног полковника.

И пучок веерных ее листьев, поддуваемый ветром, брызнул вверх, как сноп закатных лучей ускользнувшего солнца.

Покраснел полковник, еще выше подпрыгнул: как тяжелый шар луны, глянуло в воздух старое лицо его, грозно повисло мертвым кругом.

Возмущенная, прочь метнулась, то бледнея, то вспыхивая.

Как многодробный камень, ударились голова его о плечо, свалилась ей в изумрудное платье.

Зеленоватые пряди, струясь, плеснули ему в лицо, омыли седину и улетели прочь, точно облако свеянных листьев.

Всадник мчался в полях... И крикнул Светозаров, веткою пойманный черною шаткого дерева.

Тела в ляжках упали на землю. Безумие кончилось.

Взошел месяц.

Точно протянул он над ними сияющий одуванчик: всё затянулось пушистыми перьями блеска.

И перья ласково щекотали безвластием.

Светозаров ей шептал: «Никогда еще не были вы так прекрасны, не были вы так живо-творно-воздушны.

«Никогда еще».

Она послушно дышала отравой и сонно клонилась в безвидных сетях.

Они вошли в дом.

Зеленоватые, узловатые нити, как стебли недозревших колосьев, струясь, ниспадали над дверью.

Они окунулись в струи и вышли в гостиную.

На взмыленном коне прискакал всадник.

Соскочил с коня усталый, бледный.
Махнул хлыстом, нервно провизжал им в воздухе, как мечом:
«Вот я... вот я!...»
Перед ним зацвели улыбкой лакеи.
Он спросил: «Барыня дома?»
И пошел в сад.

Светозаров ей говорил: «Никогда еще вы не были так прекрасны, не были вы так живо-
творно-воздушны.

«Никогда еще, никогда».
Тучи светленьких нитей разлетались от ее стекларуса.
Это снялись с нее осы и улетели в темноту.
Светозаров шурился: золотые нити ее пересеклись в одну звездистую нить.
Эта была броня, надетая чьей-то рукой.
Открыл глаза. И все пропало.
Она вышла в сад.

Зеленоватые, узловатые стебли на двери заколебались, струясь шелестом, и косые огни,
дробимые стеблями, плескались, точно солнечные колонны золота на воде над головой захлеб-
нувшегося.

Ясно сверкнул на нее давно любимый, синий взор Адама Петровича. Ясно блеснуло давно
во сне процелованное золото кудрей из-под белой, соломенной шляпы. Ясно склонилось его
белое лицо, когда протянула ему руку.

Тихо передал ей письмо от соседей, где он гостил.

Тихо сказал ей: «Простите, что вас беспокою». Тихо протянула ему нежную свою руку в
месячном сиянии. Тихо глядела в глаза, безответно, безвластно.

Было холодно и ясно.
Ничего не случилось. Встретились они. Светозарный покой прояснил им души.
Она опустила головку, сказав: «Адам Петрович, я много о вас слышала».
Поднял глаза на нее. Сказал, прошелестев хлыстом по листьям: «Неужели?»
И Светлова улыбнулась: «Я такая одинокая: будемте друзьями».
Они шли к одинокому простору над обрывом.
Шли...
И шуршали сухими листьями.

Им открылась неоглядная даль.
И протягивая руки, сказала: «Как там хорошо – там хорошо!»
Там, где было солнце, еще осталось взволнованное погасание света.

Мгновения растянулись. Вся жизнь пронеслась перед ними. Все казалось вечно знако-
мым.

Вдали гасло ясное вино, пролитое на горизонте.
Точно его размешали с ночью.
Сидели на скамейке. Она говорила: «Вот так же, бывало, я здесь сидела.
«Сидела и думала об одном.
«Проходили дни... И вот я опять тут сижу.
«Сижу и вспоминаю прошлое».

Фонтан рядом с ними шептал, блистал.

Ясно склонил перед ней льняную, будто горсть спелых колосьев, бородку. Ясно ей улыбнулся, простился. Ясно она его к ним звала. Ясно следила влюбленными взорами, как уходил он в зелень кустов.

Лунные перья изорвались в клочки набежавшим облачным алмазом, но края облачка осквернили чары злой черной каймой.

Ветер овеял бледную шапочку одуванчика, овеял, свеял, развеял пух.

Она видела, как в доме прошли с лампой, бледно сиявшей как одуванчик.

И от лампы падали светы и плыли на цветнике странной, узорной сетью.

Точно бросили призрачное покрывало из света и тени, и вот оно мчалось по цветнику.

Она видела, что лампу нес полковник, мертвый, бледный, как призрак, застекольный.

Видела и не узнавала: ей казалось, что это труп.

Светозаров прощался: поднял на нее старое лицо. В глазах у него была пустота.

Прыснули, как молоньи, эксельбанты на белом кителе.

Надвинул фуражку, теперь сутулый, беззвучно точно ей усмехнулся: «Дышите, упивайтесь им, любите: вы в моей – в моей вы власти».

Но это только казалось.

Полковник сморкался, и не знали, смеется он или плачет.

Сморкался, не знали: казалось все, показалось.

Ландо подали.

Негры в красных ливреях из темени бросились на нее, словно моськи с кровавыми ртами, отворяя дверце, и застывали, и сияли из темени белками глаз да яркими, яркими позументами.

Из дома вышла белая статуя и прошла по ступеням в ярком, месячном луче.

Морды коней из месячных пятен гордо бросились в темновесную ночь.

Точно голова гения, увенчанная серебряным лавром, прометнулась в темь вслед за конями, – и вот он прощально махнул фуражкой.

И огненные негры бросились за ним на запятках, когда кучер погнал ландо.

Слышался конский скок на деревянном мосту, который еле удалялся, все не мог заглухнуть.

Встал из ландо, негры свели, день у них проводил, в саду бродил, и шутил, и грезил, и молил. Да, он любил, был он не мил. Забыл. С чем приехал, с тем и уехал.

Молитва о хлебе

Ты, нива, золото. Ты – ветропляс созревших колосьев.

Порфирой переметной – провей, одари.

Ниве помолимся.

Кровь заката сладко-рубинная пеной златожалых колосьев вскипела: причастники, приступите.

Сладкую пену, рубинную вкусите – вкусите пену.

Проливайся, пена, колосистая, проливайся.

Гласы, гласы свои над землей-кормилицей изрекайте, о Господе воздыхайте, оратаи земляные – дьяконы хлеба.

Хлеб с полей свозите.

Так звучал призыв к спящим, но все окончилось в отдалении – плаксивым петушьим пеньем.

И летел призыв, крутясь дымно-земной пылью на дороге.

Встал месяц – горсть оледенелого снега, обтаяв лазурью по краям.

Вот мужичонки – коренья земляные, – вот мужичонки нивой многозлачной, златотекущей нивой проходят: одежда их так землю пропитана, как воздухом одуванчик.

Проходят нивой.

Вы, мужичонки, пчелы Господни, вы, мужичонки, сердце земле да воле открывайте, на призыв вставайте, мед нив с истомой снимайте.

Покрывайте, мужичонки, соломой избенки.

Вопите: «Ты, нива, наша!»

Было холодно и ясно. Светозарные волны омывали их лица.

Они шли, и котомки их болтались за плечами.

Они шли вдоль равнин. Ничто их не касалось, и никто их не задерживал.

Было тихо. Лазурное небо точно плакало вдали. Лучезарный старец пригорюнился: «Преходит образ мира сего».

Подпер руку под подбородок и уставился ликом в землю.

Они пришли к многогребенному холму над песчаным обрывом.

Бурьян хлопал большими, ярко-красными, колючими шапками.

Камень за камнем упал в обрыв.

Лучезарный старец пригорюнился: «Слепцы не прозреют».

Прыснул ветер медович златогонный, и лазурное небо усмехнулось вдали.

Прыснул ветер медович златогонный.

На ребрах оврага изламывались многодробные, черно-метные тени тучек.

Прыснул ветер медович златогонный чернометными тенями тучек:

«Дни текут. Времена накаплиются. Надвигается незакатное, бессрочное.

«Просится:

«Пора мне в этот старый мир: пора сдернуть покровы, развить пелены, налететь ветром, засвистать в уши о довременном.

«Воздушномировые объятия мои распахнулись бестрепетно.

«Я несу парчовые ризы всех вещей».

Прыснул ветер медович златогонный яркими молоньями солнца в переметные тени тучек, и они теперь уносились вдаль.

Лучезарный старец вознес томные свои взоры. Он стоял с протянутой рукой на холме многогребенном:

«Да, слепцы прозреют: да, слепцы увидят свет».

Колосья забушевали. Крикнул перепел, пойманный шаткою тенью, летящей на острых колосьях.

Все это было: приходило и уходило.

Гряди, жнец, гряди!

К тебе, – жнец, – тайна, и слово о тебе вихрем благим нам в сердца глаголет.

В облаке росном, во струях воздушных, цветогонных, на ниву сойди и серп нам пусти свой, – серп пусти нам, нам свой серп.

Скажи: «Я – с вами».

Жнеца, работники, исповедуйте громче, – как день белого громче.

Громче гремите косами острыми.

Громче, мстители, громче, все вопите громче: «Се грядет жнец жатвою острою».

Гряди, жатва, гряди.

Верхом на воздухе

Благородный арабский конь, словно взмываясь в воздух, гулко звякал кремнем, закусив удила, то ныряя в хлеставших волнах зелени, то выплывая оттуда лебединой своей, ярко-снежной шеей. И грива его, расчесанная ветром, проструилась молочными прядями в лазурь.

Точно на коня бросили отлитого из олова всадника, засверкавшего серебром, – и вот он свистнул хлыстом, изогнувшись стройным, затянутым станом.

Голова его, закипевшая сединой, низко клонилась к бешеному коню, омытая гривой, когда он снимал фуражку.

Встала яркая его зубчатая седина языками белых, лижущих воздух огней.

Конь его нес на кусты, – он пролетал: цветы о грудь разбивались свистом.

И неслись... и неслись...

Когда бросался куст росянистым, розовым цветом, Светозаров срывал его на скаку, и цветок за спину всадника струил ток розовых бабочек.

Когда взлетал его конь, просверкав передним копытом над рыжим песчаником, всадник, застыв на мгновенье литым изваянием, коню вонзал в бока острые шпоры, к нему прижимаясь лаковыми ботфортами.

Когда мертвенно-бледный всадник взлетал над кустом языками седых прядей, осыпанный розовым цветом, он казался смеющимся образом смерти, насмешливо секущей лазурь.

Когда было, тогда будет, когда будет, тогда есть. Есть, было и будет.

Но мир смерть забудет.

Впереди неслоь звонкое цоканье, которое началось и не могло кончиться.

Это голубая амазонка словно шаталась, слоняясь, пролетала, шатаясь, в кусты, то бледнея, то зацветая солнцем.

Точно Светлову бросили в ветер – и вот она врезалась в воздух, потому что конь ее, белый как день, с днем сливался.

Спереди набежали кусты волнами шумных вершин; набежали – на грудь ей бросались: за спиной ее смыкались и убегали в бесконечность.

Набегают, набежали – будут и впредь набегать.

Когда было, тогда будет, когда будет, тогда есть.

Смерть мир не забудет.

Да, будет!

Тогда белый воздух лепил ей воздушного копя, и воздушный конь мчался на зелени, испещренной золотыми пятнами: это плясала солнечная порфира из-под сквозных бушующих листьев ясными очертаниями: – воздушно-золотые гепарды, словно из ярых солнечных углей, шатались, перемешанные ветром, то пригибаясь, то прыгая на коня.

Но кусты неслись: – золотые воздушные гепарды бежали ей навстречу (их бросила бесконечность), вылепляясь из света и тени: точно ей навстречу пустили воздушную, ветром ревущую стаю – и вот гепарды бросались на нее, разбивались у нее на груди волнами листьев, розовым цветом, пятнами солнца и холодной, холодной росой.

Это летели мгновенья – летели и разбивались.

Это она пролетала сквозь время, страстно рвалась в голубую свободу.

Когда она обернулась, время – туманный триумфатор в ореоле серебряных листьев – на тяжелом коне плавно ускало за нею.

Когда встречала она его оскаленное лицо, из беззащитно сквозных, листовых кружев оскаленное лицо ей кивало, оскаленное лицо ей кивало, оскаленное лицо ей кивало.

Когда, пролетая, она бросала за спину закипающие росяные кусты, точно развеивала за собою закипевшую зелень вуалей, зеленое кружево струилось на скачущем всаднике, и оскаленное лицо ей кивало, и лохмотья кружев, изорванных конем, жалобно плескались в яростном солнце, словно зеленые брызги разбитых, о мрамор разлетевшихся, волн.

Когда вылетела из кустов, золотые, воздушно-грызущие звери утонули пятнами в океане блеска и трепета.

Когда понеслась в широком просторе, белый, как из воска, лепной ее конь неслышно истаял в белом ветре; воздух взял у нее коня, и вот неслась в ветре, как голубая птица, плеснувшая перьями.

Но это только казалось: конь вознес ее на обрыв; внизу сверкало озеро; она любезно повернулась к догонявшему ее полковнику с хохочущим вызовом: «Не сумели меня догнать!»

Когда смерть не сумела, тогда она не сумеет. Смерть не знает, не умеет.

Время смерть развеет, время смерть забудет, времени не будет. Твердь голубая без времени будет.

Озеро, зажженное искрами, казалось застывшим зеркалом; когда они спустились с откоса, из-под ветром колеблемых камышей взлетали стрекозы; они плясали над юной сильфидой.

Покосный гигант, как раб, схвативший ее коня, застыл мраморным изваянием, когда она, поставив ногу на камень, пропела у носа его гибким, звучным хлыстом. «Полковник, мне жарко: держите коней, пока искупаюсь я там, за зелеными листьями камыша».

Синяя, синяя сильфида стояла на берегу синего, синего озера.

Гиганту показалось, что платье ее слилось с озером в одну студеную глубину, точно нырнула она – и вот лицо ее, да кисти лилейных ручек тянулись к нему из озерной глубины, потому что волосы растворились в световой пляске солнечных змей, а белопенная шляпа качалась на струях снежными нениюфарами¹⁰.

Но это только казалось: белые кисти ее ручек плясали: шуточно над носом раба, белопенная шляпа качалась цветами, а из синей синевы ее платье выделялось на озере неясным очертанием.

Вот она скрылась в зеленых камышах: там слетела с нее одежда; там пляшущие стрекозы садились к ней на плечи и грудь, и она отмахивалась от их щекощущих поцелуев.

Скоро раздался плеск воды, который начался и не мог кончиться: ходила по колено в воде, завернувшись хрустальной фатой, сотканной из крыл стрекозиных.

И шумела осока. И был день большого ветра.

И задрожавший полковник, охваченный страстью, тихо крался за нею в зеленых стеблях. «Здравствуй, здравствуй.

«Это я скажу тебе о страсти, потому что я не могу больше ждать».

Из-под зеленого шипа стеблей выплывал он старым, знойным, мертвым лицом.

¹⁰ *Нениюфары* – водяные лилии.

Он ничего не увидел: озеро – царевна – бросило на стекла свои солнечные кольца, и вот они свивались и развивались.

Солнечная змея плясала у берега. Белые неньюфары цвели у берега.

Это золотые кудри ее из-под воды выплывали, это две ручки – два цветика, это личико – букетец – приподнялись из озерной глубины. Скоро она вся восстала в хрустальных кружевах из крылий стрекозиных.

Он к ней бросился.

Протянутые руки изорвали хрустальное кружево обнаженной сильфиды, когда упал на колени, то склоняясь, то выпрямляясь.

На них бросили хладный бархат пролетающего облачка, и они впились друг в друга изумленными очами.

Хладный бархат пролетающего облачка.

Время – хладный бархат пролетающего облачка. Смерть – хладный бархат пролетающего облачка.

Горе, радость, жизнь, о, все то же, все то же.

Если было, то будет, если будет, то есть.

Вот миру весть: хладный бархат примите пролетающего облачка.

Он, точно зверь, пожирал ее взглядом, а она уронила в ужасе головку.

Он ей сказал:

«Солнце мое – вечное, вечное золото, – покорно отдайтесь мне. Я осыплю вас моими богатствами, как волнами знойных, пьяных, солнечных лучей.

«Когда вы придете ко мне, я воздвигну хрустальный дворец, точно весь сотканный из воздуха. В этом мире засветит мне солнце».

Но она отшатнулась.

Возмущенная, схватила батист рубашки, закрывая стыдливо свою наготу, то вырываясь из рук его, то бессильно склоняясь.

Вдруг она подняла лицо: – перед пей возвышался многогребенный, песчаный верх.

Там вырос силуэт застывшего всадника с перекошенным, бледным, оскорбленным лицом. Солнечная борода и болезненно-странная улыбка запали ей в душу.

В бледной, небесной бирюзе лицо всадника обдувало душистым эфиром.

Это был он – ее смутный сон.

Вдруг поднялась его белая десница, и он пригрозил ей гибким, сверкнувшим хлыстом.

Соломенная шляпа его казалась медным шлемом, а перистое облако, проплывавшее над его головой, казалось ей снизу пучком белых, страусовых, разметанных перьев.

Он спешил к ней, чтобы вырвать ее из рук времени, и вот грустно повис конем над обрывом, закрыв ее в объятиях старика.

Высоко вздымалась его взволнованная грудь.

Солнечный шелк бушевал вокруг сквозного его, жемчужного лица.

Вот замирал, охваченный ветром, – безвозвратно пролетающим временем.

Вот искаженное мукой лицо синими очами в последний раз впилося в желанную, и он скрылся за холмом, будто уплывающее облако с двумя просветами лазури.

Вот были, вот будем: но надвинулось время, а во времени рождение и смерть. Между смертью и рождением – жизнь, пролетающее облачко с двумя просветами лазури.

Дети света – вот два просвета (рождение и смерть) – просветы в твердь.

О, пролетающее облачко!

Когда она бешено оттолкнула полковника, он, тяжело дыша, стал в стороне, склонив седину.

Когда застегнула кофточку, бледно-сияющие кружева на груди у нее перестали сквозить.

Когда бросилась к лошади, амазонка ее плеснула яростью и отчаянием, и солнечный свет заплясал на ней огнями своими.

Село солнце. Небо стало большим золотым зеркалом, и бледно-сияющие кружева туч засинели и перестали сквозить.

Ветерок ей шептал:

«Довольно.

«Любовь пролетела, и угасло большое, старинное солнце.

«Прощай, прощай!

«Никогда не вернусь ослепить воскресением, потому что ты не воскреснешь, ты умрешь».

Смерть, довольно: там – одна нам юдоль, но нас много, нас много. Нам дорогой раздольной не идти никогда.

Нет: – да.

Голубая дорога голубого Чертога.

Смерть, довольно: нам вольно.

Нам от радости больно.

Опять благородный арабский конь ее, обезумевшую от горя и напраслины, звонко цокая, понес вдоль полей.

Опять он истаял в свиставшем воздухе.

Опять воздух вылепил ей белого, воскового коня, когда напало на нее море кустов.

Когда, пролетая, она бросала кусты за спину, точно сквозную, бесконечно спадающую за плечи зеленую шаль, точно о скалы разбитую зелень морских валов, и зеленые кружева, и брызги разбитых волн плясали на скачущем на ней всаднике – Смерти.

И смерть рвала кружева – покровы над бездной.

Смерть дробила шипучие волны забвенья.

Смерть насмешливо хохотала ей вслед.

Но это только казалось: полковник Светозаров рыдающим голосом ей вслед молил о прощении.

Золотые, воздушные звери кидались на них, несясь обратно.

Точно на зелень бросили дикую, ветром стенавшую стаю, и вот гепарды терзали их цепкими лапами, грызли груди им окровавленными, заревыми, воздушными клыками, разбивались у них на груди волнами листьев, цветами, закатными пятнами, холодной, холодной росой.

У них за плечами они возникали опять.

Так летели гепарды, вырезанные в зелени пятнами света, вместе с летящими кустами, от горизонта к горизонту.

Будущее грозило ревущей стаей звериных мгновений, прошлое убегало той же стаей; настоящее разрывало мгновенья волнами листьев, цветом и тенью, холодным, холодным потоком слез.

Пена колосистая

Пена волновалась.
Возмущенные колосья словно шатались, склоняясь, то чернея, то золотея.
И вдоль нивы бежали теневые пятна, производя волнение.
Точно на ниву бросили золотую порфиру, испещренную пятнами, и вот она мчалась к горизонту.

Солнце – чаша, наполненная золотом, – тихо опрокинулось в безвремяе.
И разлились времена волнами опьяненных колосьев.
Налетали – пролетали: о межу разбивались многоценным шелестом.
И неслись, и неслись.
Когда убежало солнце, небо стало большим зеркалом.
Когда убежало солнце, бледно-сияющие кружева тучек засинели и перестали сквозить.
Когда убежало солнце, вдали запевали:
«Паа-жаа-лей, дуу-шаа заа-аа-зноо-бушка маа-лаа-аа...»

Низкие, пурпуровые басы гармоника окаймила бахромой золотую.
А высокий, звонкий тенорок взлетал над огнем и золотом высоко закинутой, узкой, лазурной стрелой.

Рыдающий полковник пролетел где-то вдали, вдали, словно склоняясь, то темнея, то сверкая слезами.
И вдоль нивы бежало его теневое пятно.
И неся... и неся...

Низкие, пурпуровые струи заката заливали небо, окаймленные золотой бахромой туч.
А высокий, звонкий, лазурный пролет разрезал кружево туч острой, холодной стрелой.
Вдали замирало:
«Раа-спря-миись ты-ии, роо-жь выы-соо-каа-ая...
«Таай-нуу сваяя-таа саа-храании...»

Воздушно-мировые объятия бестрепетно распахнулись.
Ветерок пронес парчовые ризы всех вещей.

Всадник мчался, и крикнул перепел, пойманный тенью, летящей на шатких колосьях.
Наша жизнь – улетающая тень.
Вот, как черная птица, несется над морем колосьев.
Вместе с нами летит, неизменная.
Так, качаясь, летит образ мира сего... на родину, на неизвестную родину.
Вдруг лошадь споткнулась о камень многодробный, и полковник нырнул в бушующую рожь.
Зеленоватые, узловатые стебли струились вокруг него, и косые лучи заката, дробимые колосом, плескались над его головой, точно солнечные колонны золота над усмирением утопленником.

Когда убежало солнце, небо стало большим зеркалом.
Когда убежало солнце, бледно-сияющие кружева туч засинели и перестали сквозить.

Когда убежало солнце, ветерок пронес в свисте парчовые ризы всех вещей:
«Дни текут. Времена накаплиются. Надвигается незакатное, бессрочное.
«Просится: пора мне в этот старый мир.
«Пора сдернуть покровы. Развить пелены. Пора открыть им глаза. Налететь ветром.
Засвистать в уши о довременном».

На высоком верху многогребенном показался старец, точно весь сотканный из воздуха.
Это был лучезарный слепец с открытыми, синими глазами.
Он стоял с протянутой рукой на песчаном холму многогребенном.
Спина его была выгнута. Седина низко опущена.
Странно было видеть это безмолвное видение с протянутыми руками в золотом воздухе.
Он молился: «О, если б прозрели, о, если б увидели свет. Преходит образ мира сего».

Нива волновалась.
Опьяненные колосья словно шатались, склоняясь, то чернея, то золотея.
И вдоль нивы бежали теневые пятна, производя волнение, точно на ниву бросили порфиру, испещренную пятнами, – и вот они бежали к горизонту.
Закат становился бледно-грустен и золотисто-атласен.
Золотое, пролитое вино гасло, точно его разводили водой.

Вечный покой

Было холодно и ясно.
Многотечные ветры омывали их лица.
Они шли в одеждах послушников, и котомки их болтались за плечами.
Они шли вдоль равнин. Ничто их не касалось, и никто их не задерживал.
Стояла осень. Лазурное небо заплакало вдали.
Лучезарный странник пригорюнился, сказав: «Скончалась. Преставилась».
Подпер руку под подбородок и уставился в землю.

Они пришли к одинокому кресту над песчаным обрывом.
Это была ее могилка.
Деревцо хлопало большими, матово-желтыми листьями.
И лист за листом обрывался над могилкой.
Он заплакал: «Неужели она не воскреснет?»
Ветряной напор стал рвать деревцо, и матово-желтое облачко листьев, шелестя, пронеслось мимо их ног.
Он обхватил руками ее могилку и просил: «Воскресни, родная».
Ветряной напор стал рвать деревцо, и новое облачко свеянных листьев, шелестя, пронеслось мимо их ног.
Он обхватил руками ее могилку и просил: «Воскресни, родная!»

Но загадочный странник положил руку к нему на плечо и сказал:
«Чего ты плачешь?»
«Ведь могила пуста».
Поднес руку к глазам и увидел, что лазурное небо смеялось вдали.
Облетевшее деревцо радостно трянуло голыми сучьями, и в отчетливом воздухе тянулась золотая паутина. Странник, стоя на песчаном откосе, нежно смеялся сверкающим ликом.

Проснулся. Открыл глаза.
В сверкающую щель ставни рвалась светозарная струйка и ложилась на стене бледно-странным узорным пятном.
Это шумели деревья.
Это был день большого ветра.
И сиреневые кусты, охваченные ветром, глухо волновались и отмахивались от объятий и поцелуев.

Обдумывал письмо ей холодно и ясно:
«Все изменилось. Изменились и вы. Я пишу вам письмо.
«На меня надвинулся холод. Деланно вы дразнили меня, а сами обнимались с полковником.
«Я увидел, что вы мертвы – мертвы, как смерть.
«Я был болен. Уезжаю теперь от вас. Уезжаю на север, к соснам.
«Вы, как смерть, загадочны. Но я еще глубже задвинусь книгами.
«Мои уста с того дня застыли скорбным изгибом».
Так писал.
И шуршал сухой бумагой.

«Мне в вас открывалось будущее. И, протягивая руки, я вам говорил, что солнце мое восходит, восходит.

«Но оно закатилось.

«Осталось взволнованное угасание света, да и тот свет – свет моей души.

«Вокруг вас тянется паутина зла, и вы, оплетенная чарами, не горите уж, как прежде, на вечерней заре.

«И заря моя потухает: угасает мое золотое вино, точно его разводят водой».

Писал.

И шуршал сухими страницами.

«Вот так же, как я сидел и думал о вас, вы сидели и думали о полковнике.

«Вы любите друг друга.

«Прошли мои сны. И вот опять сижу я тут: сижу, но не хочу о вас думать.

«Ваша тайна давно взволновала меня, и я поднял в зарю мое лицо, но – удаленные мы друг от друга туманным временем. И то печально уходил от вас, то приближался, теряя покой свой.

«Струна за струной обрывалась меж нами».

«Мир не беспеременен. Он мчится вперед. Перебрасывает будущее в прошлое.

«У него есть крылья улететь от настоящего.

«Это значит, что прошлого нет: оно умалывается.

«Временная струя вытекает из разбитой чаши.

«Когда чаша иссякнет, перестанут струиться временные струи.

«Меня посетит забвение».

«С грустью перебираю события, заливаемые временем: мы не знали друг друга.

«Мне казалось – мы оба любили. И вот я один: один, как перст.

«Пусть вы влюблены – влюблены в старую смерть, но ваш долг – сиять для жизни.

«Это я пишу ясно и просто.

«Прощайте. Время изорвет мою черную грусть».

Над ним было ясное небо, и тучка, повитая грустью, глядела лазурными пролетами.

Она глядела, она провеяла вздохом: «Ничего не умерло,

«Все вернется.

«Да, все вернется».

Она глядела: она провеяла вздохом.

Не глядел на облако. На щеках застыли две слезы. Протянулись его руки. Разрезали голубую зеркальность, словно скорбные, четкие лилии.

Был у него только один путь к несказанному, да и он угасал.

Вечность потухла для него.

Золотая осень

Шла с седым, знаменитым мистиком. Он приехал проститься.
Он уезжал от них в монастырь.
Он ей говорил: «Еще немного.
«И я уеду в сосны. Я уйду от вас.
«Но вы сами ко мне придете».

Было холодно и ясно.
Ничего не изменилось. Изменилась она.
Получила письмо.
Седой друг надвинул широкую шляпу, грустно склонился и устался в землю.
Зашептал – заблестал жемчужными зубами:
«Этот мир – мир погибший.
«Здесь все погибают».
И Светлова улыбнулась: «Я больна. Я хочу с вами ехать на север, в монастырь.
«Уезжаю отсюда к соснам».
Она была, как смерть, бледна.
Старый друг еще глубже надвинул фуражку.
Шли.
И шуршали сухими листьями.
Им открылась неоглядная даль.
И, протягивая руки, сказала: «Солнце закатывается – закатывается».
И оно закатилось.
Там, где был златокованный щит, осталось взволнованное погасание света.

В воздухе тянулась золотая паутина.
Волосы ее, оттененные черным, чуть светились на вечерней заре.
Закат становился бледно-грустен и золотисто-атласен: гасло золотое, сияющее вино, про-
литое на горизонте.
Точно его разводили водой.

Села на лавочку: «Вот так же, бывало, я здесь сидела.
«Сидела и думала о нем.
«Мы оба любили.
«Прошло это время. И вот я опять тут сижу.
«Сижу и вспоминаю прошлое».

Ветерок трогал их одежды.
Старец сидел, опершись на палку.
Поднял в пространство старое, старое лицо.
Удаленные вершины лесные то никли друг к другу, то вновь закидывались, еще зеленые,
напитанные вечностью, сквозящей в зелени своим бледным золотом.
И лист за листом, обрываясь, сверкал.

Мир не беспеременен. Он мчится вперед – все вперед, все вперед.
Перебрасывает будущее в прошлое: летит – да, вперед – да, вперед.
У него есть крылья, чтобы лететь прочь от настоящего все вперед – ах, вперед.

Но это не значит, что прошлого нет.
Оно растет: временная струя бьет в подставленную чашу.
Когда наполнится чаша, перестанут изливаться в нее временные струи.
И прошлое вернется.
С грустью перебираем события, залитые временем:
«Мы оба любили – и вот я бела: бледна, как смерть».
«Пусть вы белы – бледны, как смерть, – ваши очи, дитя, сияют, как небо».
Она взглянула на друга просто и ясно.
Встала – ветер рвал ее черное платье.

На горизонте было ясное, винное золото, и она, повитая им, глядела вдаль.
Она глядела вдаль и говорила: «Ушел. Не вернется.
«Нет, он вернется».
Старик снял фуражку, заглянул ей синими, вещими глазами в лицо.
Он увидел на ланитах ее две слезы.

Протянулись облачка.
Разрезали золотую зеркальность отчетливыми, синими клочьями.
Остался только один винный кусок золота, да и он угас.

И вечность погасла на горизонте.
Ходили и говорили о прошлом.
Прошлое растет.
Все, что было, сохранилось в старинной чаше – поднялось.
Все, что было, не умерло: все, что было, плещется на поверхности.
Еще немного.
Остановится время: мир перестанет мчаться вперед.
И прошлое вернется.

В монастыре

Открыла глаза.

Перед ней виднелся бледно-бирюзовый океан осеннего воздуха.

Ей лицо обдувало душистым эфиром.

Вырос силуэт странника с просветленным, жемчужным лицом.

Солнечные кудри и золотая, легко раздвоенная борода светились на вечерней заре.

Это был он, ее смутный сон.

Вдруг поднялась благословляющая рука его, осеняющая знаменем, но черный клубок склоненной монашки закрыл от нее и странника, и бледно-бирюзовый океан.

Приподнялась.

Лежала в маленькой келье с открытым, светлым окном.

Сафирные чаши в окно плескались холодным ветром.

Странника не было.

Старица, опираясь на посох, вся склонилась над ней, смотря испытующе: «Видела, знаешь – нашу тайную радость».

В окне раздавался свист ветерка и грустно-знакомый шелест осенних листьев.

На бледной, небесной бирюзе трепетали, волнуясь, многошумные, красные березки.

Среди них засверкала черная одежда.

Из красных листьев выглянуло, как смерть, белое лицо юной монашки, пытливо глядевшей на нее.

Показался другой силуэт дряхлой старицы с четками в руках, и старица, отряхнув листочки, свеванные на вуаль, пошла к призывному звону.

Из листьев мелькал ее бархатный клубочок.

Скоро за одной монашкой показались и другие, и целая вереница монашек, беличек, белиц и отроковиц потянулась на призывный звон.

А березки грустно шумели и сквозили вечно-бледной, осенней бирюзой.

Когда уже все прошли в собор и среди березок перестали мелькать и монашки, и белички, и юницы, и отроковицы, показался он, точно весь сотканный из воздуха.

Она сказала: «Безумие, призрак – опять, вот опять».

Он стоял с разведенными руками под скованным золотом падающих листьев.

Он закрывал свои очи.

Стоял усмиранный – неподвижный.

Высоко вздымалась его взволнованная грудь.

Солнечный шелк волос, терзаемый ветром, бушевал сияющими прядями вокруг сквозного, жемчужного лица.

Так он замирал, осыпанный листьями – золотыми пролетающими временами.

Два листочка запутались в его бороде, когда он поднял разведенные руки ладонями вверх, и голосом, вздоху подобным, призывно звал от времени:

«Довольно!

«Скоро все облетит – пролетит.

«Времена засохли. Шелестят, как свиток: времена, как и свиток, свиваются.

«Пора!

«Потому что все пролетит и угаснет золотое время.
«Здравствуй, здравствуй!
«Это я вернулся сказать о воскресении, потому что мы воскреснем и увидимся там».

В небо плыло пепельное облачко.
Она с ужасом видела край облачка сквозь его вверх ладонями воздетые руки.
Медленно шел вдоль березок.
Впереди него сыпались красные, яркие листья. И сзади сыпались тоже.
Словно он был занавешен голубой, вечно пролетающей порфирой, испещренной красным золотом свеянных листьев.
Это был вечный водопад времен.
Она шептала: «Здравствуй, здравствуй, – ты, как прежде, вернулся: мир не беспеременен».
Она вышла из кельи и пошла вслед за странником.

Ничто их не касалось. И никто их не задерживал.
Он подвел ее к безвестной могилке на верху многогребенном, песчаном, и сказал ей, улыбаясь, будто спрашивая о чем-то: «Смотри: ведь могила пуста».
На высоких, красных, песчаных холмах собрались богомольцы,
Там воздвигали распятие.
Неизвестный священнослужитель, точно весь сотканный из воздуха, стоял в золотой, бирюзой отливающей рясе.
Тая, ряса сливалась с небом.
Простирали свою руку в бледно-бирюзовый, далекий мир.
Бледно-бирюзовый, далекий мир отливал янтарно-золотым.
Все было охвачено жидкими сквозными янтарями и пропитано ими.
Жидкие янтари подернулись огненным золотом.
Становились гуще, искристей.

Богомольцы в белых рубахах, простоволосые, стояли с восковыми, медовыми, мягкоистекающими свечами.
Неизвестный священнослужитель поставил на стол деревянную миску со святою водою; он опустил в воду пучок спелых ржаных колосьев.
Колосом окропил сосновые дали.
Простирали свои руки в бледно-бирюзовый мир: бледно-бирюзовый мир отливал янтарно-золотым.

«Господи, мир созрел, как эти колосья: ей, гряди Господи.
«Господи!
«Среди лесов воздвиг я молельню мою: на песчаных холмах водрузил я распятие.
«Ей гряди, Господи!»

Все было охвачено жидкими сквозными янтарями и пропитано ими.
Янтари подернулись красным золотом: становились гуще, искристей.
Неизвестный священнослужитель взял серп и серпом налагал крестные знаки во все стороны:
«Украсьте, украсьте цветами великую церковь мира, вы – миряне, и вы – церковники.
«Орари ваши – сердца – возносите, диаконы светослужения.
«Горе имеем сердца».

На высоких песчаных красных холмах он стоял, предаваясь молитве.
Воздвигал в ветер крестное знамение.
Голосом, вздоху подобным, призывал жнецов на жатву свою.

«Се грядет земной иерей, из блистанья серпов сотканный.
«Се грядет земной жених, из свещного действия в полях рожденный.
«Ты, жених, гряди к могилкам нашим, постучи в гробовую нашу плиту.
«Из далекой страны загробной облеку нас жизнью и солнцем.
«Мы встретим тебя, иерей наш, колосом, колосом, колосом.
«Колосись в души наши.
«Ибо мы – твои нивы: нивы, нивы, созревшие нивы.
«Ей, гряди, жнец нивный».

Бирюзовая риза истаяла. Она сливалась с небом, отливая жемчугами.
Белое лицо, омытое шелковым золотом, синими, удивленными очами глядело на бого-
мольцев, будто солнечное облако с двумя просветами лазури.
Над ними простерлись две его руки – два его снежных обрывка.

И богомольцам казалось, что это – не странник, а далекое облако, не риза, – а вышина.
Все пали ниц.
Голос странника, как призывный трезвон, еще раздавался над ними из далеких про-
странств:

«Риза моя – воздушная, золотая.
«Горизонт так янтарен».

Но это свистал ветерок, и богомольцы были одни.
Над ними было небо.
Там застыло солнечное облако с двумя просветами лазури.

Мюнхен, 1906 года.

Часть третья Волнения страсти

Слезы рослые

Было тепло и бело.

Кто-то свеивал с крыш метельную лилию: бросал из нее мерцающие крестики, звезды.

Он плясал на одинокой трубе над улицей.

Это был снежный шут.

Зазвенел ледяным бубенцом и просил:

«Воскресни, метелица».

Ветряной напор взвил на воздух шута сверкающим облаком снежинок.

Шут надвинул колпак. Бубенцами вскипел и плюнул в улицу снежной струей.

Завизжал – обжегся весенним ветром: «Я уж теперь шут погибший.

«Я уж таю».

Запевало: «Снега мои текут. Пургой моей свистучей я не могу – мне больно – проснежить».

«Расскажет пусть тебе, истаяв, снег кипучий, как хочется мне верить и любить».

Прозрачно-желтое кружево слякоти лежало на мостовой.

Мостовая оскалилась железным смехом лопат.

Лопаты шаркали по скользкому тротуару, скользили.

Захлебывались водою.

Мокрый ветер страстно запел: «Зори безумные, зоря червонные, зори, последней пургой оснеженные».

Город обнажался в мокрую пустоту.

Это шла старина, весна.

И ветер летел, проводя мокрыми руками по серебряным струнам капелей:

«Зо-о-ри-и на-а-сле-е-дней пу-у-ргой

«Убе-е-ле-е-нны-ы-я-я».

Ветер сорвал с крыши шута и тащил за шиворот в воздухе.

Шут сребрил.

Все, что было в его карманах, проснежилось – вызвездилось на улицах.

Он ветру шептал: «Не просыпаться ли и мне? Лечь на камни и алмазами выложить мостовую?»

Ничего не менялось. Менялось время года.

Приближалась весна.

Улыбались друг другу: «Будет весна, будет лето: весной на реке плывет лед, пролетает на струях».

«Льдина, как лебедь, несется, несется».

«Между льдинами вода».

«Она журчит и лед подмывает. И лед плывет: плывет и тает».

«А летом уедем на север, отдохнем в соснах».

«На севере сосны».

Улыбались.
И шуршали мокрым снегом.

Крыши проржавели. Из ржавых щелей рвалась озложенная струйка и ложилась на снег бледно-странным, узорным пятном. Сыпался вечерний свет уходящего солнца и точно не мог рассыпаться.

Но солнце село. Струйки погасли.

Хрупкая, белая, как известковая раковина, ледяная кора рвалась под ногами, оседая в желтую лужу буряющим пластом.

Виднелись светлые круги; испуганно заметавшись под ногами, они не могли успокоиться.

Это были воздушные пузыри.

Это просачивалась вода.

Дворник хлопал по льду тяжелым, железным ломом.

Ледышка за ледышкой отлетала в сторону.

На ребрах короста отламывались многодробные, легколетные осколки, стреляя в прохожих.

Шуту открылась неоглядная дыра. И, протягивая руки в трубу, шут сказал: «В трубы проваливаются.

«Проваливаются».

И он провалился.

Там, где вертелся снежный шут, взволнованно запорхали белые мухи.

А он вспоминал в трубе: «Вот так же, бывало, здесь целовала меня невеста-метелица.

«Сидела и думала обо мне.

«Мы оба любили.

«Прошло это время. И вот она истаяла».

Тень Адама Петровича, неизменно вырастая, рвалась вперед от него, удлинняясь и тая на тротуаре.

Калоши Адама Петровича, все так же похрустывая, разрывали лед, проваливаясь и черпая воду.

А уж на стене вырастала еще тень, а за ней поднималась еще.

И все двойники вырастали и таяли, уплывая вперед.

Так шел он, окруженный кучкою призрачных двойников.

Так хлопал калошами он, проваливаясь в лужи.

Когда же он пошел обратно, все те двойники, что истаяли, возникали опять и плыли обратно: вырастали и таяли.

Шут вспоминал улицы, зараженные таяньем:

«Мы, шуты, нашалили – и вот все тает: тает и разваливается».

Взглянул на себя просто и ясно и увидел, что струится.

И проструился.

Оттепель мертвенно положила его многослезным холмом.

Протянулись лужицы. Разрезали холм синеватыми пятнами, и холм смяк.

И струйки заговорили у тротуаров.

Повстречали друг друга, где звездочка-лампадка кропила пурпуром слякоть, озаряя образ Богородицы.

Высокая, с золотыми волосами, она шла к нему легкой, вкрадчивой походкой.

Очи, уклончивые цветы, еще издали заяснели они на него.

Он спросил ее взором, она не ответила, только сказала:

«Сладкая у меня с лета о Господе тайна».

Он опять спросил, она ничего не ответила.

Только сказала:

«Вы теперь можете приходиться».

Они подняли друг на друга голубые глаза и замерли, как бы не замечая друг друга.

Он улыбнулся, а она без улыбки прошла мимо, закрывая муфточкой стыдливое, розовое лицо.

И, там где стояли они, проливалось сиянье лампадки, старинное, вечно-грустное.

Все то же.

А на дворике все было рыхлое, и снеговая баба, повитая теплом, глядела вдоль.

Она глядела вдоль и говорила: «Он тут пролетал.

«Он вернется.

«Да, он вернется».

А когда все подтаяло, там, где была снеговая баба, осталась только воткнутая метла.

Капли на двориках падали: ниспадали в чашу безвременья.

Собиралась перловая влага.

И протекал ручеек.

Справа запевало: «Снега-а ма-а-и-и те-е-кут». «В таске не-е-мо-о-о-о-о-о», а слева, гудя серебряной струей капли, ветер подхватывал: «о-о-о-но-о-чи-и последней пургой»... – «а-а-а-жет пу-у-сть тебе, а-а-корд м-а-а-и-их с-а-а-зву-чи-и-и» – пересекало справа.

И ветры сливались:

«И-и-но-чи-и бе-е-зу-у-мны-я, но-о-чи-и – бессо-о-о-о-о-чи-и-т-ся мне верить и любить».

И опять закипела метель.

Торжествующий хаос взметнул тучу снега.

Алмазы

Слышался глубокий вздох, который давно начался и не мог кончиться. Это шумели снега в день предвесенний, метельный.

За ясными стеклами голубой гребень дня, вихряной, чесал сугробы; и сугробные кудри курились серебром и золотом.

Светлова вернулась из монастыря усмиренная, прозревшая.

В кружевной ткани ее вьюжного сердца предвестия восходили, как солнце из метельных облаков.

Замирала подолгу у окна, осыпанная воспоминаниями.

В опущенном окне свистом, блеском, ароматом предвесенним сквозной омофор снеговой парчою царапал окна.

Белым шлейфом, пурге подобным, точно неслась по комнатам; белым лицом, точно солнышком, клонилась в снеговые кружева; белой душой, к бессмертью вознесенной, точно рвалась из условий светской жизни.

Вьюга расплылась дымом бледных снегов – зацвела горстью спелых цветов, белолилейных – подвенечной фатой кружевной из звезд, звезд.

Дым пал на землю: лег в одну кружевную сеть.

Она расплылась на диване снегом шелков, брызнули алмазы с пальцев руки ее белолилейной, брызнуло кольцо ее на груди фонтаном звезд, звезд; качнула тувелькой, терзала тувелькой леопардовый мех.

Довольно.

Скоро она в жизнь монастырскую канет, устанет.

Она говорила подруге: «Пора.

«Потому что все пройдет.

«И все воскреснет».

Невольно —

вьюге очами сверкнула, блеснула,

потому что в окне из-под окна стая серебряных нитей плеснула крыльями; с криком метнулись хохолки снеговые, улетали прочь быстро, шумно, ликующе.

И она говорила в метельном, атласом бушующем платье, и в пурге складок лебедь – поясное зеркальце – казался ледяным осколком, когда, играя цепочкой, она брызгала им.

И сквозные пуговицы, как тонкие ледяные раковины, хрустящие под ногами, блеснули хрусталем.

Прыгнула вьюга: стала разматывать клубки – сугробы: и парчовые нити зазмеились в окна серебром.

Разметались по воздуху лилии, снеговые трубы, полные трубом, и рвались зычными лохмотьями.

Прыгнула к ней подруга: стала обнимать ее атласные колени: и воздушный цвет опылил ее головку снежком.

Это взлетела над ней серебряная шаль красавицы на воздушно обвисших кружевом руках и легла ей на встревоженную головку.

Невольно

подруга в коленях ее головой шуршала, точно в метельном холме из серебра.

И шептала: «Пора —
вьюга метет, он идет».

Так они шептались; пуховый веер Светловой то миндальными лепестками облетал, то веткой цветов рассеиваясь над подругой, воздушно рос. Вкрадчиво-золотая головка клонилась ее в бледный веер разрывной, клонилась безвластно-синими, синими очами.

То сугроб на землю свеянный выросстал, то, развеиваясь нитью мух, в небо воздушно рос. Вкрадчиво-золотая нить расплылась бледным веером разрывным, фонтаном шумным в синем воздухе, била свистом, хохотом, блеском.

Светлова провожала подругу.

Снегами шлейфа проколебалось. Серебряные колосья, спадавшие с воротника, словно хрустальные сосульки, то ломались, то выпрямлялись.

И вдоль платья бежали теньевые пятна, производя волнение.

Точно на нее бросили порфиру снега, испещренную таяньем, и вот она прошелестела по лестнице, провожая даму в снежную пургу, точно на сладкую родину.

Налетела, прошелестела.

Разбилась о грудь подруги многопенным шелестом серебряных колосьев.

Даме открыли дверь.

Куст белых миндалей припал к лицу дамы; снежными хлопьями припал к лицу; на шубке зацвел сквозными лилиями.

За стенами все цвело: стало осыпать дома цветом нежным и хладным.

Из дверей щели брызнула горсть миндальных лепестков, оцветила мягко ноги лакею.

Пронеслась вверх по лестнице метелью атласных юбок – уплывала в лабиринте комнат.

За стенами точно неслись в облака и вздыхали в небо.

С криком в облачном дыме махали пуховыми перьями, из-под кружевных кораблей веслами в голубую свободу гребли крикливо, радостно, шумно.

С криком в томлении опрокинула руки; из-под кружев они скользили в глубь зеркал призывно, грустно, тоскующе.

Слышалась зацветающая песнь, которая вот началась, и вот не могла кончиться, вот взвилась, и вот возлетела неосыпным миндалем.

Когда убежала дама, она стала пред большим зеркалом.

Когда убежала дама, бледно-сияющая, кружевная шаль запеленала ее.

Когда убежала дама, алмазные колосья плескались вокруг нее и косые лучи заката, дробимые серебром, плясали на ней, точно веселый рой отблесков на расколовшихся льдышках.

Холодные стрекозы садились на окна и ползали по стеклу.

Но появился муж, обрюзгший и толстый.

Двери замкнулись. Муж стоял перед запертой дверью;

Лакей пронес мимо него скатерть, накрывая на стол.

Прыснули вверх снега и, как лилии, качались над домами.

Обрывались стекленеющими стрекозами; стрекозы садились на окна, смерзались снегом.

Стекленили там мертвыми лилиями.

Хаос зашевелился

В первый раз он к ней приходил.

Она невольно вздохнула: шелест платья, вздох красного шелка ее, пронесся, точно ток заревого пламени.

Она невольно вздохнула: голос прошлого, ярь ночных многомесячных мечтаний ее, воскресал, как цветок гвоздики из-под брошенной снежной вуали пурги.

Он невольно вздохнул: голос ветра, шептавшего ему, в трубе загудел, точно лебедь, запевший о воскресении.

Они невольно вздрогнули: крылья метели, свистнувшие в окне, опять замелькали, точно крылья воскресного лебедя.

Она вся протянулась к нему. Удивленно взглянула, в упор взглянула желанием.

Он весь протянулся к ней. Пытливо взглянул, в упор удивленно.

Точно мягкая кошка бархатной лапой, рукой гладила его руку. Точно белая кошка снеговой лапой, метель царапала окна.

Она запевала никогда не забытой мечтой, бесстыдно кивала и точно смеялась над чем-то.

Не казался ли он никогда не забытой мечтой, потому что стыдливо молчала перед ним и точно все искала в нем чего-то?

Метель запевала старинной, никогда не смолкавшей мечтой и бесстыдно взметала к окнам парчи, пелены, белые шелки – звезды и перлы.

Рылась в сугробах и точно все искала чего-то.

Легкой, мягкой укоризной из-под впушенных волос, из-под шелковой, как льняная горсть, бородки смеялся чуть видным смехом Адам Петрович.

В очи его очей ее бархат темный, синий стыдливо уплывал, призывно и тихо. В очи ее очей его молнии ярые, синие властно сверкали, страстно, настойчиво.

Легким, тихим восторгом из-под завес метельных, из-под условий светской жизни, узнавала она в нем едва уловимый образ странника.

Грозным, настойчивым свистом вьюга звала их в обитель полей, лесов, просторов.

Комнаты сплетались в один таинственный лабиринт, и голосом стенающий полковник, как возникший рокот времен, то басил глухою угрозой, то шпорами звякал по мягкому ковру, —

и если пальцы его, точно царапая воздух, металась вдоль эксельбантов, снежная моль, точно царапая воздух, с эксельбантов летела к лицу Адама Петровича:

и если глухою грозой он взволнованно косился на фокусника – рокошущей, как рокот метелей грозой, – если атласным, шушукнувшим платком, отрясавшим моль, бросался на старика, —

как миротворная лилия ее рука,

качаясь,

то протягивалась между ними, то жалобно закрывала ей вздохнувшее лицо;

как снежная птица,

качаясь,

то в окна глядела метель, то улетала в просторы.

Кружевным платком отгоняла моль; кружевные рои роились у фонарей.

Белый бархат снегов то мягко хрустел в окна, то расцветал горстями брызнувшей моли, и если была она, его душа, в белом бархате кресел взволнованная заря, если зарей она, зарей клонила к камину, —

раскаленные уголья камина бросали, как солнце, ее, будто луч, на белый бархат снегов.

Усмехнулся полковник, сединой вздыбивший над ними, — в эксельбантах, отгоравших и зацветавших.

Вот от страсти его ледяные грозно о палец ломались пальцы, —

и точно мезью зазвякали шпоры: прилично он задавил на тусклом лице улыбку и пошел в глубь комнатной анфилады, как тайный мститель, старый мститель, заглянувший мститель в зимние окна: там метельный иерей, конем иерей вздыбившийся над домами —

в бриллиантах,

отгоравших... и зацветавших;

там ледяные его руки, грозно руки копьем потрясали.

Бриллианты в окнах плачем рассыпались, плачем вскипали и вновь рассыпались.

В окна грозился лес копий, острями пролетавший, в стекла градом лес копий стучавший, —

в стеклах сверкавший.

Лебедь в окне расплескался белой прелестью, улетел, и в окне теперь крикливо пролетали лебеди стаями — стаями, далеко улетающими, секли пурговыми теперь перьями, секли перьями.

Адам Петрович ей улыбнулся старинной прелестью, и в душе ее взволнованной пропылали пиры — пирами, давно пропылавшими,

грудь разрывало одно, навек одно.

Чем настойчивей, мягче подвигался он к своей милой, чем нежнее руками ее рук он касался, тем бархатней к сердцу приливалось счастье,

тем стыдливей, кокетливее, невозможней, тревожней она от его отступала протянутых рук.

Чем жарче сгорали златистые уголья, тем больше на них проливался сумрак, тем белые кресла означились явственней в темени лебедями, распростершими крыльями, тем быстрее неслись, любящие на крылах неслись лебединых.

Он говорил:

«Уходил я от вас в раздолья и шири, но и там посещали меня закатом, посещали меня.

«Точно пятнистая кошка там проползала вкрадчиво-мягко.

«Призывала меня кошка к новой жизни, мне вздохнула кошка о невозможном, вздохнула все о том же кошка».

Призывала метель их к жизни, им вздохнула вздохом снежным, ветер метель взвил.

Он говорил:

«Чем бурнее била струя ветра полей, тем настойчивей я, властнее я к вам вернулся».
(Белый лебедь опять взметнулся.)

«Я к вам вернулся, к вам, за вами, для вас». (Белый лебедь рассыпал алмаз.)

«Нам открыты святые восторги, вечные восторги, яркие, потому что всякая любовь ко Христу, как на крыльях, уносит». (На спине лебединой сидели, глядели, как лебедь уносят.)

«Я люблю: грудь теснит благовестие: пойдем в леса, пойдем в поля, и никто не удержит.

«Мы воздвигнем в полях и лесах келью всеобщего счастья». (Лебедь пел: «Летим в леса, летим в поля – туда вас уносит». Лебедь летел и пел, — лебедь вознесения.)

Охватил ее стан и просил: «Вам дано: о, дерзните, желанная». (Все неслась сквозь метельный туман лебединая песня, странная.)

Он шепнул.

(Лебедь плеснул крылом.)

«О, во всем Христос, о, во всем Неизменный, все Тот же. Он меж нами в старинной лазури, в белизне вечно грустной, все в том же пурпуре». (В снеговой белизне лебединые бури.)

Уронила руку к нему на плечо: «Ну чего вы, голубчик, ну о чем вы, голубчик?»

«Это все только снится, все снится, вам снится. Это вы наяву, это вы наяву, это вы наяву?»

«Нет, во сне, вы во сне: да, во сне».

Точно море желтеньких лютиков, над его челом – белым облаком – кудри лучами взлетели.

(Во столбе ледяном лебединую песню запели.

Метель лебедей проносила.)

Она говорила:

«Знакомые лица приходили неизменно, говорили о том же, а я укрывалась от вас в монастырь, где ждут странника просветленными ликами». (Ночь цвела лебедиными, оснеженными криками.)

«Он встал предо мною усмиренный, прекрасный.

«Вы дрожите. Отчего вздымается ваша грудь? Отчего у вас солнечный шелк кудрей вокруг сквозного вашего, жемчужного лица?» (Вновь сквозные жемчужные лебеди понеслись в серебре – без конца, без конца.)

«Вы зовете, зовете.

«Странник, как лебедь, зовом вставал». (Лебедь крылом перловым опять застучал.)

«Странник лучом мне сверкал, как сверкала метель снежной пеной.

«Это вы зов метели? Нет, не вы.

«Нет».

(Лебеди пролетели – лебедей нет.)

Звук ее голоса запевал, будто лёт снежной пены; обернулась, удивленно взглянула, испуганно: зеленый мундир и сквозное, бритое лицо, прозрачное, в ореоле серебряных листьев тряслось, чуть качаясь, в беззвучном хохоте —

нет, нет:

на высоком, зеленом столе закачалась лампа в сквозном, белом абажуре.

Из-под решеток камина желто-серый гепард в черных кольцах остывал угольным бархатом.

Рука ее безвластно упала вдоль колен: взор тоскливо вперила в желтые угли хрустевшего жаром камина, испещренные налетом золы, точно серыми пятнами.

Слыша, как прорыдал там рояль. Что-то хотела прибавить. Забыла.

Ничего не прибавила.

Из открытых дверей, как из пастей лабиринта, как из заколдованной дали их покрыли сетью аккордов, и они поникли в сетях.

Там вихряной сединой, как некий священнослужитель – в аксельбантах, то зацветающих, то отгоравших, —

Светозаров грозно вздыбился руками над роялем, снеговой дым яро клубился в окна: там некий иерей —

в бриллиантах,

в стекло сверкавших, в стекло стрекотавших, —

воздушно вздыбился конем над домами; снеговой дым яро клубился в окна, и руки полковника то поднимались, то падали.

То нажимал рояль, а то потрясал рояль, и будто копьё ледяное стучало по клавишам.

И копьё ледяное стучало в окне: кто-то метелью вскипал и в стекла швырял град бриллиантов.

Стаи брызнувших копий щелкали в окна.

Из открытых дверей, как из пасти лабиринта, поднималось глухое стенанье рояля и вкрадчивый, вкрадчивый голос:

«Уста-а ма-а-и-и ма-а-лч-а-ат... В т-а-а-ске-е не-е-мо-ой и-и-

«жгу-у-у-чей, я не-е м-а-а-гу-у... мне-е бо-о-о- мне

бо-о-

о-о-о-о-

о-о-о-льна га-а-во-реть».

В душе Адама Петровича пропылала тайна – горькая, затомила.

В душе ее пропылала тайна и затомила.

В окне грозная завывала буря, снежная буря заголосила.

Громко хрустнули пальцы его заломленных рук, когда опустил их.

Еще. И еще.

Ярко брызнула цветок огневой на него из заломленных рук, когда подошла к нему.

Изогнулась призывным изгибом. Его уста застыли скорбным изгибом.

Из открытых дверей, как из пасти лабиринта, поднималось глухое стенанье рояля и голос:

«Рааа-

скаа-жет пуу-сть тее-бее аа-коорд

маа-иих саа-звuu-чий

«Каа-

аа-ак хоо-чится мне вее-риить ии люю-биить».

Груда червонцев пылала там, испещренная серыми пятнами, как золотой, сонный леопард.

Так тихо опускали глаза, так легко горели в яростном пламени страсти, —

точно распинала их крестная тайна, точно рвались с кипарисного древа, точно гортань пересохла от жажды, точно завеса срывалась с храма, точно мертвецы поднимались из гроба, точно глядели им, точно глядели им в души

свинцовые их, тупые зраки —

так тихо опускали глаза, так яростно сгорали в страстном бархате.

«Дай, счастья, дай».

Томно губы ее зазмеились страшной улыбкой, пламенной до боли:

«Милый, вечно желанный, мой милый —

дай счастья, дай».

Хохотали из дали клавиши рояля, точно в пропасть срывались камни, точно кричал умиравший от страсти, точно мяукала, точно мяукала страстная, шинка.

«Милый, вечно желанный, мой милый —

дай счастья, дай».

Руками в стрекотавших браслетах, цветущих золотом у его глаз, томительно охватила его голову, быстро, властно, настойчиво, и щеки ее озарились розовым бархатом.

Устами, опущенными золотом, цветком нарцисса, белевшим в муаровых отворотах сюртука, прижался —

и руками в стрекотавших браслетах томительно охватила его, быстро, властно, настойчиво, лишь щеки его озарились страстным бархатом.

И пурпурный визг алого шелка, как визг багряницы, терзаемой объятьем, и в руках его жарко тающий стан, смеженные глаза, щекочущие ресницами, слились в одну смутную, неизъяснимую грусть.

И холодный визг хохочущих клавишей, как визг заплясавших метелей, и холодный гром, пролитый в замирающий шепот, и колко пляшущие форто дисканта звучали из глубины лабиринта, как прелестная, колдовская грусть.

Он ей шепнул:

«Чем святей, несказанной вздыхает тайна, тем все тоньше черта отделяет от тайны содомской».

«В белизне и лазури Иисусовой вихрем кошунственным протекают пурпуры – пурпуры Содома и Гоморры. Ангельски, ангельски —

«в душу глядятся одним —
навек одним».

Она его увлекла на диван.

Когда очи смежила, пурпурные губы их, доли взрезанных персиков, жадно терзали друг друга, томительно... до боли; безвластно раскинулись ее знойные руки, и платье проструилось на пол огненным, измятым лепестком.

Когда очи смежила, крики рояля – крики убиваемых птиц, больно впивались им в уши, томительно.

Когда, вырвавшись от нее, лицо закрыл он стыдливо руками, ее нога свесилась на ковер и пролетела свистом ткань, выше колена открыв черную, шелковую, змеей протянутую ногу на желтом плюше дивана.

Когда вспомнила, что сделала, соскочила с дивана; оправляя платье и волоса, сказала ему: «Хоть вы и о тайне, но и вас уязвил соблазн. Уходите и дайте опомниться».

Из жуткой пасти, из-за старинного рояля, из-за нот сединой возникал над нею полковник. Хищно, пытливо, безумно, все тем же угрожая, тем же, все тем же.

Выгибаясь, как потухший серый гепард, на рояль уронивший лапы, он приник к пюпитру большой, оскаленной головой в темных кольцах дыма бархатным телом, словно готовя прыжок, словно несясь в метели.

И в метели мчался всадник вихряной в снеговом плаще из звуков.

Полковник заглядывал в окна:

там вздыбился над домами иерей – вьюжный иерей, крикливый. Заголосил: «Приближается».

Замахнулся ветром, провизжавшим над домами, как мечом:

«Вот я... на вас... вот я...»

Моя ярость со мною...»

За ним мстителя-войны, серебром, льдом окованные, поспешали.

Яро они, яро копиями сверкали, сугробы мечами мели, мечами.

А из жуткой пасти комнат, из-за нот уплывал в метель Светозаров, и когда Светлова поймала в зеркале его взор – точно отмахиваясь от ответа, руки полковника падали на рояль, бриллиантами трезвоня по клавишам.

А из жуткой мглы пурговой, из-за труб по крышам летел всадник метельный, и когда люди глядели на крыши – точно отмахиваясь от взоров, руки всадника падали на ледяной меч, сверкавший на бедре.

Снежные руки скользили по окнам, пальцами трезвоня в стекла, точно в клавиши.

Бешено взревел старинный рояль, точно голосом метельным, точно мстительным воплем мстителя все того же.

И уста полковника размыкались темным криком;

«Каа-к

хоо-чии-тсия мне вее-риить иии-

люю-бии-ть».

Воздушная игуменья

Дрожавший подкравшийся муж, упав к ней на грудь кольцами мягких волос, вставших петушьими гребнями, черным муаром отворотов расстегнутого сюртука зашуршал на ее платье, и кольца зазвякавших его брелоков в красном пламени шелка, и его сухие цыплячьи лапы, ласково щекотавшие атласные ее ланиты: все из сердца ее исторгло тоскливое восклицанье, когда, скромно отстранив упругой ногой его прилипчивые ноги, она закрыла лицо руками.

Тревожный, метельный голос, взывающий к ней все тем же волнением, переполнил сердце; стенающий крик о похотливых ночах, о мертвых объятьях, о вновь и вновь отдаваемом теле, – стенающий крик тоской заливал душу.

Так пошла она прочь, а он, в руках зажимая красные горсти ее шелков, старался ее повалить, и сладострастные глаза, жестоко сверкнувшие в опухших мешках, и торопливые руки, взвившиеся на ее платье, распалили его бурным бешенством.

Молодая красавица с дрогнувшими ноздрями, бесстрастно уклоняясь, покорно силилась улыбнуться: золото ее волос, мольбой протянутые руки, грудной плач свирельного голоса, все возбуждало в сластолюбце одно, одно: «Когда молодая женщина живет под одной кровлей со мной, я добываю ее насильно».

Когда вздулась метель под окном, ее клич рассыпался над гремящими крышами; там, в окне, бушевала она шелками снегов призывом, призывом, закинутым в небо, настойчиво призывала томлением.

В неравной борьбе она розовым ноготком больно царапнула дряблую щеку.

Он ее яростно повалил, и красавица изогнулась красным, атласным станом, а ее точеные пальцы в стрекотанье пляшущих браслет укрыли ей головку от побоев его засвиставшей в воздухе руки: так она замирала, вздрагивая под ударом; из-под камина жарко калили золотые уголья.

С белого, бархатного дивана она скатилась красным закатом, оросившим снега, а сияющая куча углей сверкала над ней из камина, точно осколок уплывающего солнца.

Вот увлажнились очи сквозным жемчугом, и, как дикая испуганная касатка, она кричала, устало сметнув золотое облачко волос, и клич ее утопал в диком кличе метелей, шелками снегов закинутом в небе призывом и смертным томлением.

Когда надругатель ушел в клуб, она поднялась с леопардовой шкуры: так она стояла, покрытая волосами, с синими, высоко закинутыми глазами, и жемчужина, не дрожащая на мраморной щеке, и сладкий аромат духов, и пальцы, терзающие кружевной платок, – все сливалось в ней в одну смутную, неизъяснимую грусть.

Метель запевала о том, что старинная старина, к нам взывающая томлением с воздушным, как воздушные рои снежинок, полетом все о том же запевшей любви, – что старина поет вое немолчней, и зовет-то и плачет-то, ластится и раскачивает легкую колыбель, словно деточки, сиротеющей души: —

метель запевала, и снега, пелены, парчи бросались на окна, когда жадные уста ее лобзали окно, как и встарь лобызали.

Метель запевала: «Ууй-мии-теесь воо-лнее-ния страаа-ааа-стии...»

«Уу-снии бее-знаа-аа-дее-жнаа-ее сее-ее-рдцее...»

Из-за старинного рояля, из-за приподнятого пюпитра устало возникал полковник побледневшим от грусти лицом, и будто в ужасе вставшие над теменем седые волосы тихо, так тихо вырисовывались из полумрака и уплывали за пюпитр:

«Я плаа-аа-чуу... Я страа-аа-ждуу...»

Из-за ряда лет, из-за черных, черных деяний возникал он перед собой – он, еще ребенок – с ужасом расширенными очами, точно молившими о пощаде: «За что, я хотел только правды, о, за что же?» – вставал и уплывал в старину.

К нему пришла она с невольным влечением в водопадном, белом пеньюаре, словно из воздуха, и жалобными волнами своих закатных, упавших волос отерла пот смертного томления с его чела; и личико, еще сырое, сырое от слез, испивало грусть его бархатом рыдающего голоса, устами повторяла за ним слова, мокрый платочек терзала на груди, когда, как сонный, рыкающий лев, он ронял на руки больную, больную голову с закрытыми веками, потухающим взором.

Они пели: «Дуу-уу-шаа ии-стаа-миилаа-сь в раа-ааз-луу-уу-кее».

Тревожный метельный голос о разлуке, о том, чего нет, о детстве и о том, куда все слетит, изнывал за бешеным платком, свистевшим в окне.

Чем безвластней к старику склонялась красавица, тем разымчивей становилась его грусть, тем и очи, и руки, и губы к ее очам, рукам, ее губам приближались невольней.

И прижался лицом бритым своим к ее ласковым пальцам, и вздохом глубоким положила уста на его измученный лоб, точно сестра, упокоившая больного своего старого брата: «Вместе мы любим: вы – меня, а я – его; вместе, усталые, мы влачимся к могиле...»

Вот поднималась метель, как воздушная, белая игуменья, изогнулась атласным станом под окном, а хладные ее пальцы в стрекотанье ледяных четок плеснули серебряной волной муаровой мантии, точно засвиставшими в небо крыльями: так она тянулась к окну; из-под ее ресниц нежно взирали пустые небеса, нежно; руками точно терзала алмазы шелковых своих риз, разорванных бледными клочьями, а зов слетал с ее уст, призывный, стенающий:

«Я страа-аа-ждуу... я жаа-аа-ждуу... Дуууу-ша ии-стаа-мии-лаась в раа-злу-уу-укее».

Она думала о том, что старинное, старинное, грустью ее звавшее томление, с огнем ей в грудь дохнувшей любви, и запевавшее в сердце метелью, будто той же метелью, и все тем же месяцем склонилось над ней, и его знакомым до ужаса, будто в детстве снившимся лицом, когда жарко там целовал он ее где-то уж процелованными устами своими, как и встарь, успокоил где-то из старины приподнятым взором.

Бледная ее, утомленная головка с шелковым огнем на мраморе тела разгоревшихся волос, и улетающий ее взор, будто вся-то она уходила в тоске, будто все-то она смерть подзывала, – все говорило о смертной загадке, – все: и она, и месяц, когда мерно поднял он на нее, как и встарь, свой серебряный диск, свои долгие взоры.

Шепот весеннего времени

Трясущееся пятно в ореоле седин петуху протянуло записку.
Прочел, вспыхнул, как огонь, и словно волны красного, бордоского вина разлились на щеках.

А на него кивал полковник, хрипя от кашля, точно зверь, оскаленный на зарю.

Сухо заметил, задавив кашель: «Это меня не касается. Со всяким положением примиряешься. Пора и мне восвояться».

Но петух, зверски сосредоточенный, с сигарой в руке метнулся за стариком.

Впереди пробежал лакей с подносом.

В окне снег слезы проливал. Рыхлый сугроб опадал.

Протоптался грязью, сияя пятнами – темными пятнами.

Снег свозили.

Еще и еще.

И везде потянулись воза.

Взмолился петух: «Полковник, полковник».

Кряхтя и вздыхая, повернул полковник к нему безбородое лицо и улыбался полковник кривым ртом: неизвестно, чему улыбался полковник.

Прыснули эксельбанты на зеленом мундире, и громовый басок сотряс немоту: «Да – эхехе, батенька – эхехе».

Обнял старого и повел его в переднюю, и никто не видал одиноких угроз старика, протянувшего руки, усталыми бельмами.

Шелестом под окном оборвалась рыхлость.

Сыро прошлепали грузные ноги.

Возлепетала струйка. Взмолилась.

Уснула.

Петуху казалось, что лакеи смеются.

Один был без бороды: он все косил. Другой, старичок, с выпяченной губой, точно профыркал в бакены. Он потащился за шубой и палкой с протянутой рукой.

Желтый снег покорно свозили.

Шелестел шелест лопат, как старушечий шепот весеннего времени.

Ленивая, лунная ночь, лепетавшая тальными пятнами, изливалась льющимся лепетом.

Громыхали пролетки: «Тра-ра-ра-та... старое...

«Все то же».

Ворона с тающей кучи удивленно хрипела в мокроту.

Их вез извозчик, рокоча по камням, брызгая талой слякотью.

Чей-то тревожный окрик странно раздался в глухой темноте: кто-то кого-то стал звать куда-то.

Все казалось теплым и мокрым – весенним; все опадало мокротой – дождем и снегом.

Старый извозчик поднял верх пролетки уныло, ворчливо, и пахло чем-то родным.

Они вышли на тротуар: нищенка, безногая, серая старушка бросилась к ним с угла:

«Подайте слепенькой, Христа ради».

Светозаров подвел к дому толстяка, из шубной шкуры его палец поднялся к занавешенным окнам: «Там она отдается ему: там они наслаждаются. Обнимаются поцелуями».

«Слепенькой, Христа ради».

Нищенка поворачивала серо-пепельное лицо, раскрывала очи и вращала белками.

И не прозревала.

О, если б прозрела, о, если б не была она слепа.

Словно треснувшее стекло полетели из желоба оборванные сосульки, трезвоня по мостовой глухим рыданьем, и разлетелись звонко-колким сребром.

Черная тень засквозила в окне.

Она протянула темные, темные руки, уронила теневой свой, темный, как уголь, темный, черный лик.

Засквозил другой контур теневой – темный, темный: мутный, загасил свет.

Два старика стояли под окнами. Обнимались и плакали.

«Тра-ра-ра-та-старое...»

«Все то же».

Громыхнула пролетка.

Старики сели в конку: конка отражалась стеклами в стекле, в отраженных стеклах – отражения тусклых, уличных фонарей.

Они издали гнались за конкой, нагоняли и пропадали в отраженном стекле: там слепил очи неотраженный фонарь.

Фонарь отставал, вновь выросло отражение конки.

Вновь отраженный фонарь нагонял отраженную конку.

Светозаров сказал: «Все мы призрачным отражением летим за призрачной жизнью.

«Настигаем и умираем».

Скашивал глаза, бормотал в мех шинели, а Светлов все молчал и хмурился. Оба тупо бледнели в тупых сумерках.

Спины их были выгнуты. Головы низко опущены.

Так стояли они перед домом Светлова, прощаясь друг с другом.

Чей-то тревожный окрик раздался из черного дворика: кто-то кого-то куда-то звал.

Это дворник из отхожего места навел свой фонарь на обмокшую кучу: куча была не куча: безобразник обнимал горничную.

Свет упал: замелькали их пятки. И дворник ругался: но казалось – кто-то кого-то куда-то звал.

Полковник видел: вспыхнул мертвенный свет подъезда; кряхтя и вздыхая, Светлов задрожал, в руку лакея пихая шубу. Лакей, затворяя дверь, улыбнулся кривым ртом неизвестно чему.

Кто-то куда-то позвал его, как и в детские годы, когда-то.

Обернулся.

Голубоглазая девчонка задорным носиком смотрела ему в лицо.

«Эй, старикан: мне четырнадцать лет, проведемте ночь».

И старое, всеми забытое, всеми оставленное лицо торопливо закрывало, ушло в выцветший мех шинели, в беззвучной судороге затряслось с ужасом широко раскрытыми в ужас ночи глазами.

Не то смеялось, не то закачалось в бесслезном рыдании.

Голубоглазая девчонка прыснула в него синими искрами, лукаво смеялась невинным личиком, звонко запела скабрезную шансонетку: «Тра-ра-ра-та... Тра-ра-ра-та...»

«Старое, то же», – оборвал он ее.

«Рое-рое-рое» – громыхнула пролетка. Посадил в пролетку. Завернул в шубу.

Пролетка тронулась.

Сугробы опадали, как застывшие трупы, осиянные бледным блеском фонарей.

Жестяной головой выше, выше в окно бросил взоры стрекотавший стеклянный фонарь.

Осветил комнату лучевой рукою.

Голый старик в руки склонил седину и с рыданьем шатнулся на стул.

Впереди него чье-то тело упало лицом в подушку.

Задвинулись шторы, и словно черные волны небытия разлились в комнате.

Слышался шелест и вздохи, и чья-то старая о погибшей любви мольба.

Была черная ночь.

Кто-то из тьмы кого-то позвал: «Опять, —
опять: мне больно, больно».

Еще. И еще.

И пропел петух.

Грязная развратница – город – раздевалась.

Ворох лохмотьев, как шепотный водопад, валился с нее, обнажая старушечье тело.

Чем бесстыдней лобзал ее ветер, тем бесстыдней мяукала она влюбленной кошкой:

«Уммау-ммуууу-моау-мау-ааун-яйхр...»

В старине

Знакомые абрисы домов высились неизменно.
Говорили о том же, все о том же.
Все уйдет. Все пройдет. Уходя, столкнется с идущим.
И останется неизменное.
Все то же.

Все наливалось тьмой, и усталый полковник дымно-серыми кольцами проваливался в черных тенях.

Из-под упавшей гривы волос в желтый пламень камина вперились глаза пепельным бархатом.

Груда камней пылала там трескучим золотым червонцем, будто воздыхающий леопард. Леопард вздыхал о том же, все о том же: и сонное тело полковника с похороненной душой серыми пятнами валилось в небытие.

Из-под окна знакомые дома бледными, бледными грудями будто валились в синий темень.

Желто-красный закат, как потухающий гепард, испещренный черными кольцами, уплывал за домами.

Струйка под окном оборвалась. Взмолилась. Уснула. Смутно донеслось воронье карканье среди пустого безмолвия.

Еще. И еще.

И в окне прохлопала птица черными крыльями.

Одинокие, пустые пасти приняли там повешенного, и ему некуда было падать.

Из-под ног алмазы созвездия биллионами миль и дней промерцали там в старине.

И бесстрашно повисший узнавал премирное, откуда все тот же голос, как и встарь, запевал:

«Ноо-чии бес-соо-нные... Ноо-чии бее-зуум-ныы-ее...»

«Ноо-чии пааа...»

«слее-дним аа-гнеем аа...»

«заа-рее-нныы-яя...»

Из-под ног колесики кресел, взор уколотившие звездами, видел вскочивший полковник.

Желтое кружево огней потащилось по потолку оскаленной комнаты хохотом аккордов, загремевших над потолком:

«Ноо-чии паа...»

«слее-дним аа-гнеем»

«аа...»

Леопард прополз на горизонте. Положил тяжелую голову на красные лапы.

Улегся.

Странно донеслось его жалобное мяуканье из разорванных туч.

Еще. И еще.

Это стонал ветер.

Обрюзглый петух ввалился к полковнику, запевая все о том же, о том же, зажженный красными пятнами углей.

Руки свои заломил, уронил в них каштановый гребень: «Как перенести мне измену».
Из-под седин устало полковник на него посмотрел с бархатно-мягким хохотом...
«Тра-ра-ра-та... Старое...
«Все то же.
«Дуэль так дуэль. Все мы шутим, и все смеемся: смеемся и проваливаемся.
«Старое... Все то же...»

Куча золы остывала в камине, как звериный, пепельный труп.

Струйка под окном оборвалась. Взмолилась. Уснула.
Еще. И еще.

Сняв намокший картуз, в необъятных мехах шинели закружилось на улице тело все так же, все так же.

Все шептало выцветшим лицом, шептало ликом: «Все придет.
«Самочувствие вернется».

Выбегало из магазинов. Забежало в магазин.

У прилавка аптеки шептало неизменно, говорило о том же, и дряблый аптекарь в протянутой руке подавал бутылочку брома: «Все придет. Самочувствие ваше вернется. Бром – неизменное средство, верное».

Но бессильное тело внимало ему чуждо, и изможденный лик валился в меха шинели.

Так кружила шинель по улицам, возвращаясь к себе в торопливом беге.
Но она не вернулась.

На лужице бумажная лодочка пронеслась.

Воду зачерпнула. Размякла.

Странно остановилась над мокрой бумагой старая шинель.

Опять. Вот опять.

И дворник с метлой проворчал: «Посторонитесь, ваше благородие».

Кто-то кому-то показал: «Смотрите, смотрите —

«вот опять все тот же военный: какой он старинный, мертвый».

И шинель бросилась прочь.

Забор наклонился. Ветка протянулась.

Талый шлепок уронила на картуз.

Опять. Вот опять.

Лицо, проваленное в мех, вывалилось из меха.

Проходили люди и не понимали, что просила из далей погибшая душа.

Вот. Вот опять.

«Ах, нет у меня ста...»

Громыхала пролетка: «Рое-рое-рое... ста-рое... – все то же...»

Просилось в ветре: «Нет у меня старого тел-ла-

«заа-рее-нные... оо-сее-ни поо-здней цве-тыбы», – лилось из дома рыдающее пение.

Из-под меха, свалившегося на лакея, вылезла мертвая, серая вешалка и прошла в ресторан.

Шубу, испещренную бархатным мехом, лакей повесил, точно трупную шкуру.

Тело полковника склонилось над телом цыпленка оскаленным ртом, окаймленным замшевой кожей, как большой, пепельный зверь.

Исподлобья шушукала ресторанная посетительница, уставясь на Светозарова бархатом глаз... «Полковник, еще недавно бодрый, там он сидит мертвой развалиной».

Из-под серебро-белого венца седин лицевое трупное пятно жалобно уставилось на нее жующим ртом.

Прелестию своею

И над Светловой повисли дней кружевные метели.

Над ней повисли метели.

Серебряной своей туфелькой лукаво их попирала она, как воздуха, когда, восходя, хохотала прелестью до упада она выше, все выше —

прошла:

за нею, над ней, вокруг нее снежилась муаром ее мантия белая, в небо засвиставшими, в небо взметенными пурговыми крыльями.

Заметенная прошлым, вот она вкрадчиво, вьюжно опрокинулась назад из оболочка своих дней,

вот заглянула в лазури глубокой истомы, загляделась в эти колодцы и головкой своей в сверкающей шапке в них отразилась, и грудкой,

стрекочущей ожерельем слез лебединых, застывших, холодных,

и ручкой

со жгучей, как меч жалящей, ледышкой — любовным жезлом.

Ах, да нет:

то не была на ней снежная шапка —

то атласный клобук воздушной матери-игуменьи с вуалью дней, свеянной в былое;

и совсем то не был любовный жезл, а ледяной, властный посох, чтобы не оступилась она в стремнину,

и не слезы,

а ледяные четки, стрекотавшие в прошлое холодным, холодным градом.

Как из оболочка дней,

так из оболочка метелей она выплывала серебряной туфелькой, как месяцем из тучки, как дитей из колыбели,

как душой из времени.

Так шелка ее миллионами мгновений снежились, слетали;

Из них на свободу просилась душа ее, деточка.

«Пора ей устать. Пора вернуть с высоты.

«Быстро тень под ногами ее скользит, когда черной игуменьей за бедной моей женой тень пролетает.

«Пора открыть ей глаза, что она стоит уже на черте, переходит границу, непокорная времени».

– «Увезите ее за границу».

Так говорили полковник и муж.

Закипевшие дымом шелка ее, парчи, пелены, снега и снежные водовороты дымили на них кружевами, духами, когда выходила она к ним из комнат.

На белый жилет положивший баки лакей, словно чопорный манекен, на подносе ей подал письмо,

И в пурге шелков взошел на щеки румянец; и то любезно отвечала мужчинам, то любовные строки читала как бы небрежно, —

но вверх, вверх —

к месячной стремнине, к ее сиявшей, как месяц, глубине из-под атласов, взвевных над ней клокочущих снегом дней, —
вверх она уплывала.

Из-под, как кружево снега на пальцах, приподнятых к личику лионских кружев в темь глубокой низины взор она метнула —

на дозирувшего полковника: он сидел с закачавшимся, как маятник, эксельбантом, отбивающим время.

Точно время дозором уставилось на нее – не время: лик, увенчанный лавром убойной старости. А она, непокорная старому времени, быстро сунула записку в карман.

И победило время:

и записка незаметно скатилась под стол; слюнявая морда сан-бернара уставилась на полковника,

и вот он на записку указывал псу;

и пес, шаркая лапами, пастью подал записку.

Украдкой старик прочитал, сказал:

«Эге... Опять тут назначено свидание».

Горько затянулся сигарой:

дымовой гад, влекущий воздушные кольца, поплыл из его рта и охватил ее кольцами.

Но она прошла, шелковым коленом гада изорвала.

Проходя к себе, она думала о том, что он, он, звавший ее любовью в серебряный храм, иерей,

совлечет с нее пурпуровые ризы;

будто той же придет пургою и тем же месяцем встанет,

и ее хрустальные руки – до ужаса прозрачные – распахнули ему окошко, когда вьюга там клокотала, когда она прелестью ее обвивала и приникла кусающими, где-то уж процелованными губами к ее губам.

Так она, белая игуменья, стояла с ясной, как месяц, туфелькой, занесенной на подоконник; ее ледяные четки, протрезвонив, охрусталили стекла; ризы, серебрянные ей в грудь хладом плеснувшей пургой, воздушно мелись за плечами.

Нет, не стояла она:

нет, она бежала по протянутым вверх кисеям, и оттуда, где всегда пусто, чиркнул серп ей по туфельке – проалмазил ей ножку.

Вот и острым концом резанул ей ладонь,

когда его,

свою грустную деточку,

в пустой киновии¹¹ она схватила и ожглась, но к груди своей прижала —

прижала месяц,

как закипевшая мать, как в слезинках изошедшая сестра и как бесстыдная любовница.

¹¹ *Киновия* (греч.) – общежительная обитель.

Огневой бокал

Розовоустая женщина с дрогнувшими ноздрями зашелестела, потупясь, под сквозной вуалью, запятанной черными мушками: и шляпа ее, свеянная на шею облачком перьев, и черный, муаровый шлейф, чуть приподнятый перчаткой; и серебряные туфельки ног, тающих в бушующем креме атласа и кружев, – все будило в нем смутную, неутоленную жажду.

Он поднес руку ее к губам, стыдливо ее желающий, тихий.

Она положила шляпу у зеркала, оправляя прическу.

Он спросил ее взором, а она пылко ответила, опустила глаза, и губы ее – раздавленный персик – нетерпеливо дрогнули под щеками, очерченными ресницами; так она стояла, знойно дыша и как бы не замечая его.

Бледный, схватил ее, чуть прищуренный, руками, точно тигриными лапами, терзал кружевной, черный муар на упругой груди, устами искал ее уст, впился в них и из-под своих жарких уст, полуоткрытых в его разделенные уста, обожгла быстро, бесстыдно, сладостно.

«Милая, дай счастье... дай».

И она дала снять с себя лиф.

Руки ее, оголенные, теплые, закрывали ей грудь.

Нежные чаши мягко колыхались над черным, узким корсетом.

Когда охватил ее стан, спадающие юбки уже перестали шуршать, и она осталась в сквозном, красном шелку, точно сотканная из воздуха.

Мягко таял в руках ее жаркий стан.

Так она замирала, одной рукой закрывая сквозящие чресла, а в другую, сжавшую корсет, уронила головку, всю осыпанную солнечными кудрями, ниспадавшими ей на круглые, четко обрисованные бедра: «Тело мое – упругое, гибкое.

«Ночь моя – жарка и бархатна».

Изогнулась, свистнула между рук его рубашка, и он сжимал пустоту.

Ее с ним не было.

Там из постели лилейной рукой манила, призывно раскидалась на белой простыне красным цветком.

Когда он стал пьяным и подходил тихо к постели, она закрылась малиновым одеялом, испуганно следила за движениями его пытливо, жестоко.

Когда он сорвал с нее одеяло, она вскочила на постели, поднимая к груди колени свои, но он опрокинул ее, повалил в подушки, и она закрыла лицо руками.

Когда лег рядом с ней, обхватив, она вырвалась, царапала его, отвернулась со злобой, оттолкнула ногой, а другую ногу спустила на пол и стояла, нагая, с закинутой головой, закрывая лицо руками, плача и не желая испытать любви.

Дверь отворилась. Вошел ее муж, пожирая женщину жадными взорами.

Странно раздался его смешок среди озаренного безмолвия.

Еще. И еще.

И он вышел.

Рыжеватые пряди волос покрывали ей спину, ниспадали на грудь, под свеянную с плеча рубашку, и она, согнувшись, надевала на белую ногу атласный чулок.

И пунцовые уста, и гневные очи засверкали на милого, когда тряхнула головой, отмахиваясь от мыслей: «Я позвала вас бесстыдно. Вы бесстыдно ответили на зов. Нет, вы не тот, кто мне снился.

«Я – бесстыдная. Уйду туда. Там все вернется».

Скоро она надменно стояла в черном платье, повязала шляпу, спустила вуаль, прошелестела муаром, уходя.

Петух стоял одиноко. Он знал, что теперь не минуешь дуэли.

Странно мерцал его смешок среди тающих улиц, Еще. И еще.

Кругом гроыхали пролетки: «Рое-рое-рое-...

«Старое: все то же».

Деточка

Она ниспала с небес пустых, но атласных.

Лукаво-серебряная ее туфелька застряла там в снежке, как месяц застревает в облаке, – все тою же прелестной стариной она ниспала.

Под ней был хаос, вокруг нее он струится, и она, чьей-то отброшенная ножкой, скользила по свиставшим волнам, зыблемым легко контуром, рисовала теневой контур теневой летучей игуменьи в теневом клубке, в воздушно-вздutom, словно воздух черной ночи, виссоне и с ветряным током, как пастырский посох, острорежущим из холодных ее рук.

Месяц, серп —
алмазная туфелька.
Ах,
небесной жены больше нет —
нет: без жены пройдет много лет!..
Ах,
без весны умрет белый свет.
Ах, месяц, серп —
оледенелый: ах, алмазная туфелька!

В блеске игуменья – *Тень* безысходно под облаком запрокинулась любоваться пролетом пустой истомы – и не облак то был: игуменья – *Снег* в просверкавшем клубке, белой пылью – вуалью – вниз пылящим, стрекоча, будто градом, алмазными, дерзкими четками, яря блеск, как сталь, ледного посоха, крутила снеживший муар засвиставшим в небо крылом.

Та отемняла простор – эту блеск резал, та ликовала – и рыдала эта: снежились, тенились, летучились обе свистучей лаской – белица и черница, святая и грешная, в старой, все той же обители Вечности.

Бедный житель земли: где найдешь ты святую обитель?
В даль иди,
золотую,
ей, ей внемли.

Но загадочный прохожий положил руку ей на плечо: «Чего ты плачешь? Здесь холодна могила».

Она очнулась от мыслей на реке у ледяной проруби.
Струйки плескались прозрачным, кисейным паром.
Здесь она хотела броситься в воду; но здесь она задумалась: «Неужели все погибло?»
Струйный старик стал обнимать ее, и белое его лицо клонилось любовно: «Вспомни, родная, вспомни!»

Поднесла руку к глазам и увидела, что то старый, ее покинувший друг.

Замкнулся круг.
Милый друг, спаси от мук совести —
от длинной стези могилы.
И внимала старинной повести. И закрыла лик.
В этот миг возник друг чудесный и старый.

Сказал:
«Проснись» —
указал на высь, на небесный луч —
на его золотые пожары.

Кудри его тряхнулись под ветерком, и она, плача, протянула ему руку.
Он говорил: «Еще немного: все, что ушло, вернется.
«Ведь могила пуста.
«Но бегите из дому, бегите, куда и я когда-то бежал – в леса, к соснам».
Повел вдоль реки. Говорил о прошлом,
что оно вернется.

Есть, было, будет.
Что было, то будет, что будет, то есть – всегда, всегда.
Вот миру весть.
Так – да.

Она вверх по сквозным кисеям ускользала доверчивым взором, и оттуда, где все пусто,
чиркнул из облака серп – заалмазил серьгу.

Блеском душу ей полоснул он бесстыдно, растерянной деточке, и она – деточка – доверчиво предавала отныне пустой кинонии все, все: себя, свое тело и душу, и грусть, как изощренная в слезинках сестра, как желанная жена и как любовный младенец.

Месяц, серп —
алмазная туфелька —
с неба упала.
По снегу она ступала алмазной туфелькой.

Капели

Ты, снежок, – рой пушинок: луч упал – стал подмачивать.

Слезами окропил плиты.

Осиянная пыль – желтоносная цветень – брызнула из желоба и опылила прохожих.

В окнах сквозили снега – одуванчики, водой смоченные весенним деньком.

Искролетная струйка упала на лед и плыла в мерзлой глади холодным, лазурным пятном.

Слышался рокот пролетки, который давно начался и не мог кончиться: «Тра-ра-ра: это я громыхаю рокотом, тороватым, старым, весенним громком»,

И снега текли. И слякоть росла.

Надвигалось весеннее, улыбчивое.

Просилось: «Пора и мне в этот старый мир.

«Пора согнать снег, брызнуть искрами струек.

«Провлачить на лужах чешую золотую.

«Наша жизнь – золотая парча, пролетающая на струях — золотые, парчовые облески.

«Пора —

потому что, если блеск метлами не сметут, весны не будет.

«Потому что кинешься в блеск, а разбрызгаешь лужу».

В сверкающих струнах солнца засверкали сосульки истекающими лилеями.

И золотые капли, развесив сети, звенели солнечными струнами.

Синяя струйка словно роптала у ног, то темнея, то золотея.

На ней взбивались белопенные гребни.

Точно на струйку мальчишки пустили лебедку – белый, бумажный кораблик, – и вот он прыгал, черпая воду.

Хрустальные льдинки, точно стрекозиные крылья, сверкали хрусталем.

В светоловных сетях воды билось солнце, точно пойманный улов рыбы.

Смеялось в колосьях мокрого блеска.

В стеклах росных, во струях звенящих,

цветогонных, плясали серпы золотые и из серпов сотканное дрожало начертание весеннего жениха.

Ты, лужица, – зеркальце невесты: солнышко глянет – ты посверкиваешь.

Сядет оно: и покроешься ледяным скатным жемчугом.

И янтарный ледок под ногою прохожего разлетится хряскими рубинами,

Опять капели

Взволнованный дуэлянт раскланялся. Ветер донес его визгливый голос, и под приподнятой шляпой колыхнулся гребень волос.

Одугловатое лицо чопорно хмурилось о последствии.

Все казалось жалким и мокрым – весенним.

На Адама Петровича устало дуло револьвера. Мгновения растянулись.

Вся жизнь пронеслась перед ним.

Окрестность казалась вечно знакомой, стало падать что-то ласковое, бархатное, и удивлялся, что лежит в снегу: кто-то куда-то позвал его, как и в детские годы.

Издали раздался петуший, взволнованный голос, в солнечном воздухе пахло родным и погасило сознание.

Засияло тусклое солнце, и снега отливали серебром и оловом.

Точно все было выслано оловянной бумагой.

Светлов крикнул: «Полковник, полковник: наша жизнь – пролетающий призрак».

Но полковник, поливая из кружки залитое кровью лицо сраженного, сухо заметил: «Не знаю я и не хочу знать!»

Он поперхнулся, и лицо его изморщилось, не то от смеха, не то от кашля, не то от рыдания.

С крыш капал веселый дождик.

«Ца-ца» – считали талую грязь; «тень-тень» – ломы опускались на мостовую, и разлетались осколки. «Кршшш» – срезали снег с мокрого асфальта.

«Тах-тах» – весело прыгал красный шар, привязанный к синей шубке младенца.

В каждом стекле фонаря безостановочно, беззвучно лопались ослепительные шары и разлетались стрелы.

Все таяло, все несло.

Золотая, солнечная чешуя, павшая на грязь, ползла вместе с прохожими.

И раздавалось в грохоте пролеток: «Ца-ца-рое-тен-рое-рое-рое-кршш...»

«Тюр-люр-лю» – это весенняя вода завивалась у ног пенными пузырями, вечно лопающимися бусами, терзаемыми водой.

Колдун

Телом Адам Петрович бессильно поникал, головой кровавой опадал, несомый людьми, и алея пятнами сквозь повязку, темными пятнами.

Его уложили.

«Подушку. Еще подушку».

И он тонул в мелком жаре подушек.

Ослепленные, злые стены сжимали над ним свои каменные объятия, и желто-дымное пламя свечи в лучевом ореоле, точно голова жгучего одуванчика, плясала немым издевательством:

«Ты на свободе... Нет: ты в тюрьме».

Огненно-желтое лицо – все в жару – поднималось с подушек, и, околдованный темницей, он стонал, когда из дверной, черной ямы колдун наплывал шаркающими туфлями.

Мертвое, серое лицо выплывало из пасти на желтую свечу, и бархатный, красный халат, испещренный темными кольцами, зашущукал на колдунье, зашущукал о том же... нет, не о том, потому что это был полковник.

На упавшей бархатной ткани в желтый пламень камина вперилось мстительное лицо.

Из-под железной решетки камина блеском сияющий зверь полагал морду на мягкую, когтями цапающую лапу ярящей, золотой грудой.

В сияющий треск уткнулся щипцами полковник, и бешеный зверь изгрызал их, каля, трескучим клыком.

Полковник сказал, что тьма заливаает больного и что больной, убегая к любимой, повалился в смертные тени;

что и он верный ему друг, старый; и что вот пришел друг к больному менять компрессы.

В ярком бреду больной раскидал над подушкой свои восковые руки; начинал понимать, что коварный колдун серыми оковал стенами и ее, его душу и что она, душа, плененная колдуном, теперь томилась над его головой в чародейской западне.

«Бурной, как вихорь, моей рукой я сам разобью стены и выведу ее из темницы», – стонал он, когда худой, тонкий, белый, как умирающий лебедь, машущий крыльями, руками он взмахнул, и его порыв из него изошел: белоснежная, нежная лебедь плескалась там, проницая стены охлажденными перьями.

Бархатно-мягкий халат, испещренный серыми кольцами, поднимал свою желтую руку.

Дымовой, бледно-бисерный лебедь, просквозивший плеснувшим пером, нападавая, качался над старым.

Желто-красный рукав, изрывая лебедя, проводил папиросой огоньковый, молниенный круг.

Бисеринки дыма дробились там, лопааясь в темень, как пена, истекающая водой.

Из-под упавшей в бархате пламени свинцовой десницы в чело больного струились недобрые токи.

«Из-под мокрого компресса, Адам Петрович, течет уж вода, а я охлаждаю вас ледком».

Она, тоскуя, изнывала над потолком в колдунской власти у времени, и детский голос ее просил о пощаде, когда алый колдун заводил временный круг, поставленный на столе.

Больной стенал: «Довольно времени, и так она во власти у него там поет, она томится».

А в чертогах колдуна томилась пленница, изнывала в разлуке: «Я жаа-аа-

«ждуу...

«Я страа-аа-

«ждуу...

«Дуу-уу-

«шаа ии-стаа-ми-лаась в разлуу-уу-кее...

«Я жаа-аа-жду, я страа-

«ааааа-».

«У вас над головой поет консерваторка, – сказал полковник, – и я просто пошлю ее унять. Это глупое, глупое пение, столь бесполезное вам теперь»,

Из-за железного камина в черную пасть двери, шушукая, нырнул колдун туфлями и бархатом.

Из-за вставших чарами стен над головой больного задохнулась она.

Из-за бледных простынь желтой, желтой рукой он схватил оставленный светоч.

Красные, красные жала, точно ливень огней, срывался теперь с летающего меча.

Черную пасть двери он окропил пламенами жгучего лезвия, колдуну преграждая доступ.

И упавший на полковника в темени меч исторгал из его глаз рои искр червонных.

Бледным, воцеленным челом, налетая на спинку, проливал из глаз в темень искры.

Пленник бешеной чародея силой умерщвлял, но тот снова возник и сурово вырвал у пленника световой меч, желтым, бархатным лезвием его развеивая над ним.

Он другой огневою своею рукою из камина, из пасти у зверя, взял каленые щипцы.

И вскричал больной, и встал, и рукой бил колдуна, и швырнул его в пасть зверю, и золотой зверь выходил из железной решетки на колдуна и его ел; красной своей лапой обнимал; и проклятый колдун, исходя клубами паленого смрада, простирали свои желтые руки из огневых, бархатно-мягких объятий.

Прибежали люди. Кричали.

Еще. И еще.

И кричал с ними больной в бреду над паленым стариком:

«Я победил время».

А там, над потолком, – душа звала, она томилась:

«Я жаа-аа-

«ждуу...

«Я страа-аа-

«ждуу-

«Дуу-уу-

«шаа ии-стаа-ми-лаась в разлу-уу-кее...

«Я жа-аа-жду, я

«стрраа-

«ааааа-...»

Она звала, она томилась.

Синева господня

Больной очнулся, голова над ним упала, шепнула и пропала.
«Вы были больны, слегли, всякий вздор наплели и старика обожгли.
«Нехорошо жечь знакомых».

Кто-то добавил: «И в такие дни, Господи. Помелом бы вас, помелом —
«помеломосподи-Го-спо-ди поо-мии-лууй».

Кадило взлетело, звякнуло цепью, фыхнуло дымом и пропало.
Понял, что его хоронят.

Пухлое тело в желтых пузырях взвалило на плечи дощатый гроб и понесло туда, где никто не бывает.

Так оно несло, но под гробом шепталось: «Так ты и жег меня, но ее не настиг.
«Мы схороним тебя в пустой старине, где Судия не увидит».

Но мертвец сказал: «Несите меня к Судие: я хотел только правды: пусть же правда суда исполнится надо мной».

И тело взмолилось: «Я тело больное, страдающее одышкой и все в пузырях».
Тогда встал мертвец, взвалил свой гроб; один пошел своей горькой дорогой.

Повернулся – старина на облачке злобно кусала ногти, а ее длинный хвост крутился в пространствах.

Белый купол приплыл издалека. Оттуда вышел старец.

Протянул руки и пошел к нему богомольно.

И гряда в синеве воскуренных туч росла, все росла.

Искристый нимб чудотворного старика, его нога, поставленная на холм снежный, молнийный трезубец в руках и низине туманом грозящая десница – давно он носил в душе своей образ угодника, скорого помощника, тайно пришедшего к нему.

Все под угодником громыхало. Облако в бездны тень бросало.

И из нимба рек старик струевой бородой, трезубцем указующий в бездны на то же, все на то же:

«Гад под облаком ползет. Хвост его, из времени сотканный, изгибается. Надвигается миллиардами мгновений. Просится: пора и мне на небо.

«Пора оковать высоту поднебесную змеиным кольцом возврата.

«Гад оковал землю. Там жена от него спасается: пленяется силой змеиной.

«Хвост его вокруг нее обвивается, душит.

«И жена просится: я на земле, но я верна небу.

«Пора, сын, напоить ее небом, унести в солнечную обитель.

«Сойти к ней странником.

«Не прежде гад отойдет от жены, потому что она еще покорна времени».

Он посмотрел под купол облака. С земли поднимался дымок.

Чешуйчатые кольца дракона ползли в пространство.

Взмывался на небо бесшумно, все так же.

Молниевый трезубец, положенный старцем, блистал на краю купола. Старец уходил в облачную пещеру; его нимб оттуда блистал, громок в пещере рокотал тайным взыванием.

Облака закрыли твердь. Твердь голубела в просветах.

Час близился.

Закипевшие дымом белогромные облака, словно озеро кольцами, охватив бирюзовый пролет, то каменели, то расплзались песчаным дымом.

Разорванный гневом, стал на белом верху, глядя в жуть воздушной стремнины, то взлетая с пухнувшим облаком, то опадая.

И из необорной жизни плыл гад, волнуясь блеском чешуи.

Точно щучья морда уставилась на него, венчанная острой щетиной перьев, – и вот она струю красного смрада пустила в бирюзу.

Точно жалом огня опалила воздух, потускневший от копоти, – и вот он подумал, что и там, внизу, он боролся с гадом.

Время – гад, кольца влекущий в поднебесьи, – наплывало в голубое безвременье.

Он стоял, вознесенный над временем, испивая лазури.

А оно влеклось в пространстве то пустом, то облаками загороженном.

Оно переползало вверх по пространству, словно водяной змей, вылезавший из голубого колодца, то ныряя под облаком, то выплывая над ним.

Над стариной повисли белогромные стены, и вот оно взором их прободало.

Точно в воздушных гранитах открылся колодезь – и вот из синего колодца к облачному берегу выплывало змеевое время – гад, кольца влекущий.

Солнце, облеченное блеском, тихо из-за оболочка опрокинулось над колодцем, и лучи его – трезубцы – тремя жалами прожалили они время и выплывающего из времени гада.

То не солнце – иерей, облеченный в силу, обтекающий блеском, яро над гадом опрокинул молниевый трезубец.

И его трезубец прожалил старину: точно замерла старина, остеклев пустой, сухой перепонкой, прожженной, как пустой фонарь, просквозивший оболочкой и солнечной силой, упавшей с надоблачной вышины.

Когда трезубец на гада ниспал, время закорчилось змеёвыми кольцами.

Когда пролилось оно на землю биллионами мгновений, старики пробежали в облачном ходе, издавая громы и гласы.

Когда в самую глубину тонул мертвенеющий гад и блеск оттуда чешуйчатый излучал, как перепончатая жужелица,

голос тогда раздался с самой великой, облачной башни:

«Синева Господня победила время».

Тогда в разрывы облак садилось золотое тело солнца.

Никто не мог сказать, что это не купол обители среди снеговых холмов и полей.

Белая облачная дорога тянулась с земли.

Она казалась снежной тропой.

Голубые разливы пространств, как разливы весенних вод, замывали ее.

Здесь залегла издыхающая гадина.

И тогда змееборцу навстречу с земли потекли, будто светом залитые, пчелы и ярые светочи несли; к ним сверкал победительно сверкающий иерей.

Лучезарная жена, ее лазурь, к иерею протянутые ее длани, когда из старинной темницы восходила, затерзали издыхавшую гадину.

Бессильная гадина, словно жужелица, трепыхалась сухой перепонкой.

Но иерей перевел луч, и мрак потопил старину.

И в бледной, бледной бирюзе он стоял пламеносным ликом.

И в бледной, бледной бирюзе текли на него жены из солнечной обители.

И в бледной, бледной бирюзе стояло старое солнце, точно окованный в золото воин,
отчетливо вонзенное в снега, облака.

Париж. 1907 года

Часть четвертая Гробная лазурь

Белолилейный цветок

Вьюга выдувала бледные вихри.
Вверх метнула снега, и белые лилии закачались над полями.
Все, гудя, пронеслось, все несло прочь отсюда.
Вьюга расплылась дымом бледных снегов – зацвела горстью спелых цветов белолилейных – подвенечной фатой кружевной из звезд, звезд.
Ленты серебра певучие налетали, пролетали – обволакивали.
Сталкивались, дробясь снегом.
Сквозной омофор снеговой свистом, блеском, ароматом предвесенним разметнулся над полями.

Примелькался снег, танцующий блеском, просквозивший синим, будто кружево.

Игуменья уронила головку. Заиграли ланиты.
Серебряный бархатец стал ей навстречу похрустывать; из-под чашечки ресниц в проходную монашку метнула синие, синие цветики.

Чуть приподнятым ликом то припадала монашка к ее плату, то слагала варешки на груди: «Мать-игуменья, ты оцветилась. Помаваешь в келье веткой сирени».

«Кто ояснил нам киновию?»

Но игуменья указала ей на метель: «Вот они, ветки сирени-то...»

Но она безвластно отходила: блески черного шелка скромным метнулись вздохом, как томно вздохнувший шорох.

Уже вдаль стекал черный ручеек: с ведрами на плечах потянулись монашки к колодцу и рассыпали ногами горсти следов – горсти снежных цветов.

Метель дышала томным напевом, как и не раз им певала.

Метель протянула свои белоцветные кисти и отрясала кисти.

И кисти распались белыми цветиками полей.

В визге, в визге распыленным серебром поля оцветили, словно душу псалмы.

В полях снежный брат блистательной митрой просыпал перлы снега.

Отрясал с рукавов серебрины, святитель полей.

Свистом, блеском из лазури ниспал на обитель его хладный образ.

Игуменья, вся в белых цветах, беззвучно смеялась: можно было видеть, как там, за обителью, монашек напал на юницу.

Брызнул юнице в лицо серебряным снежком.

Черный стан ее охватил и шептал: «Не уходи, родная».

Изогнулась, отпрыгнула, запустила руку в корзину и, размахнувшись розой, звонко колючкой царапнула лицо.

Молодая игуменья все видела, на все смеялась: «Влюбляйтесь, ласкайтесь, играйте снегом и цветом».

Монашка там рассыпала в снег лепестки на границе обители и дряхлого мира.
Вдали снежный брат уксус воспоминаний претворял в радость и пургу.
Белой ризой укрытый, пронес свои алмазные руки, как лилии, в огне вечернего света.
Восторгом, серебром из лилий поля кропил он, любимый, далекий.
И лилии распадались горстями бриллиантов. Сотнями брызнувших мошек ложились у ног.

И мошки гасли.
Это была предвесенняя метель.

В сумеречной бирюзе можно было видеть черный силуэт склоненной игуменьи на черте обители и дряхлого мира, где деревянный столб возносил ласковый образ Богородицы. Над игуменьей трепыхалась световая, сухая жужелица.

Это был столбный фонарь, трезвонивший ветром: на снеге бились его лучи, как сухие перепонки крыл, жестоких и желтых.

Жучил, жучил ее прошлым фонарь, стрекотавший ветром,

Вдали белел улей. Вдоль стены ползали желтые осы.

Оса за осой проползали по стене и уползали в дырку.

Это вдоль вечерней стены шли монашки с фонариками, обходили обитель и проваливались в ворота.

Вдруг из-под белой стены сугроба стая серебряных птиц плеснула крыльями: с криком метнулись хохолки заревые, улетали прочь быстро, шумно, ликующе.

Все прометнулось снежными птицами – яркими криками.

Прометнулись, уносились, замирали в далях, крича.

Подняла из-под черного плата розовый, ласковый лик свой.

Улыбнулась.

Было холодно и ясно. Ничего не изменилось. Блестела обитель пузатыми куполами.

Сугроб, развеиваясь нитью мух, в небо воздушно рос. Вкрадчиво белая нить расплылась разрывным веером; фонтаном шумным в синем воздухе была свистом, хохотом, блеском.

Гробная лазурь

Белогромные облака, вскипевшие гневом, словно озеро, кольцами, охватили бирюзовый пролет, оттуда глядевший старец с гробовой крышкой в руке то вырастал, как пухнувший оболочек, то ставил ногу на снежный облачный холм:

«Встань: ведь могила пуста, потому что синева Господня победила время».

Вскипевшие дымом нежноструйные снега, словно крылья просвиставших атласов, охватывали старца, и усопший, из гробовых странствий возвратясь, встал и поставил ногу на алмазный сугроб, скрепленный морозцем.

Он сказал: «Я ли жив? Синева надо мной. Разве я не преставился в болезнях?»

Из необорной вышины ниспадал дымный змей, свивая снежные кольца.

Точно щучья морда, просквозившая синевою и венчанная серебряным гребнем расчесанных снегов, уставилась на обоих – и вот она струей хладного снега покорно легла у их ног.

И старец сказал: «Точно: жало смерти вонзалось в тебя, и вот ты хворал два уж года. Ум помутился твой. Два уже года, как я тебя перевез в тихую мою келью. Я тебя схоронил. Я молил. Бог явил свою милость: пора, вставай же, странник, вновь на ветхую сошедший землю».

Закипевший дымом саван, снегом в снег взвеванный, с ним слианный, вихрился струйкой метелей, и странник узнавал забытого своего друга.

Закипевший сквозной белый гад взлетел из-под ног, и горсти искр оцветили блеском снежную его чешую.

Страннику открылась неоглядная даль. И, сквозные протягивая руки, он сказал: «Солнце закатывается – закатывается».

И оно закатилось.

Там кругом протянулась льдом окованная равнина, и над ней шла пляска метелей.

Но загадочный друг положил ему руку на плечо и подвел к могиле; в глубокой яме, четко обрисованной гробовыми досками, не было дна, а гробовой лазурный пролет в подоблачную стремнину.

Когда заглянул в гробовую лазурь, он увидел загробное небо с землею; когда заглянул туда, увидел и время: оно корчилось змеиными кольцами – будто пустые, просквозившие светом, его чешуйчатые стекла безжизненно стрекотали умирающей смертью.

Когда загляделся в могилу с тонущим в ней мертвым гадом, над ним раздался старческий голос: «Синева Господня убила время»,

Обернулся. Старец вздыхал: «Мы оба когда-то жили – и вот умерли: но умерла смерть»,

«Мы не чаяли: в снеге песни звучали, рыдания —

«мы не чаяли.

«Ныне болезни, печали, воздыхания в снеге истаяли».

Странник понял, что льдом окованные равнины – только облака, заливающие твердь. Над равниной – там, вдали – багрились змеиные кольца дракона, и странник, повитый страхом, укрыл свой лик в старческой ризе:

«Змей еще в небесах – опять он вознесся».

Старец сказал: «Он теперь не ужалит. Он не безпеременен. Он тает. Над ним совершился суд».

Но это не значит, что змея не было.

Все оснежилось. Оснежился и старый друг: «Снежок веселый, снежок ясный – снежок». Рубиновым от мороза лицом шурился на избушку – добрым, от молитвы лучистым лицом.

Вошел в избушку.

Мягко затеплил лампадный, пурпуровый камешек.

Сложил лилеи (не лилеи – руки), преклонясь.

Зашептал, и глаза облекли не сквозные слезы – жемчужины: «Радость, радость — «ты с нами».

И слова текли настоем цветов – лилеем (был же лилеи настоем цветов).

Старец был, как дитя, ясен.

Еще яснее придвинул книгу.

Бормотал.

И шурился янтарными страницами.

Слышалась зацветающая песнь, которая вот началась, и вот не кончалась.

Это сыпались снега.

Из дверной щели протянулась миндальная ветка, и вот белые с нее хлопья падали на старика, оцветили хладно его ноги.

Мир велик, он возле, а мы на земле.

На земле —

пусть, о, пусть:

Старик, откуда же грусть?

Лилей, старик, скорей пролей.

Мир велик: он возле, а мы на земле.

Странник остался один.

Над ним взмылись легкосвистные стены, но кто-то их оборвал.

Заглянул в могильный колодезь – и вот там ничего не было.

Прошушукал крест, облеченный снежным блеском, фарфором разбитого венка над начертанием чьей-то безвестной могилы:

«Помяни его во царствии Твоем.

«Я не воскресший – больной, отуманенный разумом».

Поднял руку.

Засвиставшим проструились серебром метельные его пальцы, и показалось ему, что не живой он – весь сквозной.

Со святыми упокой: он и здесь, и далеко.

Помяни его во царствии Твоем, помяни: во чертоге, Спасе мой, Твоем — золотом —

во чертоге золотом помяни!

Воспоем, братия, раскрывая объятия: «Чертог светел».

Пропели: никто не ответил.

К старцу пришла молодая игуменья – заря-зорюшка ясная. И, протягивая руки, сказала: «Солнце закатилось – скатилось».

Да, оно закатилось.

Там, где стояла, склонилась черным клобуком, и над ней протянулась благословляющая старческая десница.

Дал, кряхтя, золотого вина, дал – пролитого в кружку.

Потом его разводил водой: «Выпей, радость моя, – выпей сладость».

И монашка пила и сидела тут, черная с белым лицом. И глаза ее – лазури – усталились на молитвенника, точно небо из облака: «Вот и вчера тут сидела.

«И думала об одном.

«Что и я была в мире.

«Но прошло это время. И вот я тут сижу.

«Сижу и думаю об одном».

Старик поднял над ней светозарное, старое лицо.

И черные четки то падали, шелестя, в упавших руках, то вновь закидывались над клобуком в сквозных пальцах ее.

Глаза странника из-за ледяных, оконных колосьев глянули любовно, когда прильнул он песней в метельном столбе.

Глаза монашки сверкнули солнцем, когда с окна она на старца перевела взор.

Но старец пригорюнился: «Вот ходит там мой работник за окнами. Он рехнулся.

«Ходит и думает, что снежит.

«Но пришло время. Иди, мать-игуменья: пора и тебе в монастырь».

Протянул руку. Разрезал золотую зеркальность заката белыми клочьями ризы.

Поднес к устам ее образок – кусок золота.

Сказал, напутствуя: «Еще немного: остановится время; мир перестанет мчаться вперед.

«И прошлое вернется».

В окнах вставали трубачи снеговые: пушистыми трубами в небо трубили шумно, восторженно, радостно.

Трубили колким блеском.

Игуменья улыбалась: «Иду я от старца домой в монастырь».

Следы ее, черные пятна, за ней тянулись по снегу.

Горьким пленением, племя юдольное, не устанет мчаться вперед – доколь?

Но вот:

сладким забвением осластится боль.

Прейдут года, и, тая, угаснет время.

А пока —

времени река зовет.

Ну вот:

вперед, все вперед – за годом год.

О, юдоль золотая!

Полиелей

12

Старица видела сон.

Плавно качался чешуйчатый гад на червонных кольцах.

Когда, влачась по храму, вполз в алтарь и служил там обедню, из-под волосатой морды, прощемленной ехидством, из зева попрыскивал едкой серой кошунств.

Когда, влачась над обителью, по небу полз змей метельный, из холодной пасти его попрыскивал снежок белоградным хрусталиком.

Утром епископ, подкатив к обители, то выставлял свой лик из возка, то плутовато клонился в шубные соболя: «Ну-ка, что встретит меня в сей еретической киновии?»

Ниспал на возок сквозной шмель пурговый.

Ужалил епископа морозным жалом.

Уже молодая игуменья горбилась с крыльца печеным хлебом и солью.

Зыбкий снег ее обласкал, прыснув в ноги горстями цветных камней, и она то прижигала взором смиренно припавших к епископу вопленниц («Кто не проглотит языка?»), то впивала грудью снеговое мирро пророчеств.

Возок епископа откатился от ее крыльца, прочертив хрупкий белоцвет золотою змеею,

Паркет блестел воском. Над ним пролетел грудной цепной крест в черном шелку на фарфоровой шейке игуменьи.

За ней мантия прошушукала темень: «Владыко, будьте гостем: мы, как и все».

Из-под плата свирепо дрогнули мертвые скулы послушницы и уста, опечатанные немотой.

Точно гремучая змея, свистело епископское лицо, но хитрая ересиарница безответно клонилась: «Не знаю я... не знаю...»

Хмель встречи метелица претворяла в грозный шум судьбы.

В окна стучали персты ледяные.

Гремучая змея, прошелестев рясой, уползла из кельи игуменьи.

Епископ служил в храме.

Кукушечий клич клира покликавал с клиросов, когда чуть подъятым старческим ликом золотой епископ выходил с чашей в руке:

«Благочестивейшего, самодержавнейшего...»

Кукушечий клич куковавшего метельного клира покликавал жалобно в окна.

Епископ, безответно запахнувшись в шубу, прощальным шипом прошипел, словно уносясь на крыльях метели: «У вас все по-старому. Напрасно на вас донесли».

Ему вслед кричала черная игуменья, острым посохом прожалив крылечко: «По-новому, змей, – все-то у нас, змеюжка, по-новому».

Сквозь щель возка выюжный воин выюжно взвизгнул на епископа выюжным серпом.

Шелком игуменья неизменно вырастала среди монашек и богомольцев, нападала, как черная пантера, потрясала тяжелым острым крестом, прославляла грядущего странника и убежала.

¹² *Полиелей* – пение псалмов во время утрени, прославляющих бога: «Хвалите имя Господне» и др.

Столб метельный, гудя, выросал, бросался на нее, как белый зверь, осыпал цветами и ускользал.

Монашки волновались.

Возмущенные духом богомольцы ходили за ясновзорной пророчицей,
то склоняясь, то устроясь.

А вдали столб метельный, как странник, проходил по полям, как бы плача,
то склоняясь, то выпрямляясь.

Так звучал призыв к спящим, но все обрывалось в отдалении сметенным вихрем слухов.

Так звучал призыв к спящим, но все сливалось в даях гулким хохотом заплясавших метелей.

В храм вошла игуменья. Кто-то, знакомый, одевал черную касатку в сияющие ризы блеска и светом их зажигал.

Метель пронизывал луч. Кто-то, знакомый, разрывал кружево метелей и блеском снега обливал: они сияли сквозными перьями блеска.

Игуменья стояла в сквозных перьях блеска; и слезы – жемчужины – наполняли ее стеклянные глаза.

Из храма выбегала она. Кто-то, знакомый, в скуфейке уходил в столб метельный.

Там он стоял за обителью в сквозных перьях метелей, и снежинки текли из его стеклянных глаз.

Метель запевала: «Года, неизменно текущие, проходили, наполняли чашу времен, проливались в прошлое и возвращались».

Глаза игуменьи, оттененные ресницами, опускались, счастьем сияли и погасали.

Столб метели, неизменно взлетающий, бросался на обитель, обливал ее снегом, призывно плакал и пролетал.

Жену облекало солнце в золотую порфиру лучей, испещренную пятнами, и вот порфира слетала с ее плеч.

Чашу, наполненную вином, тихо вознес иерей, облеченный в солнце, и вот монашки приобщались крови.

Монашки облеклись в белую, как бы льняную одежду, испещренную пурпуровым цветом, и вот стояли со свечечками в руках.

Солнце облеклось в метельную, как бы серебряную пену, зажженную блеском, и вот метельная пена плыла над обителью.

Глаза странника из-за лдяных, оконных колосьев будто глядели любовно, когда к окнам прильнул во столбе во метельном.

Глаза ее с амвона будто сверкали на вьюгу любовно, когда острый метнула в окно, острый свой взор.

От непрестанной молитвы Иисусовой восхищенная духом обитель из-под стен монастырских в воздух синий колокольным звоном скликала толпы страстно, властно, пророчески.

От непрестанных ветров хохочущий поток снежный из-за стен монастырских в воздух синий бил кружевным, хладным ревом, свистом, блеском предвесенним.

Духово пьянство

Пробиралась по снегу там молодая игуменья, собрав парусом черным надутую мантию в руку, а другой рукой оправляла клубок и клонила на грудь милый, розовый лик свой.

Когда вздулся из-под нее снег, охватил ее стан, ножку она поставила на паперть: так стояла в развеянных ризах с синими, высоко закинутыми очами, размашисто покрывая себя крестным знаменьем.

Черные, черные старицы, преклонясь рогами свещных огней, пляшущих над клубуком, хвостами прошушукали вдоль амвона, и оторванные рои искр, будто красные пчелы, уползающие в фимиам, и чела их, кровью гвоздик оплетенные, и пламена восковых копий – все прозвучало в них об одном, все о том же, когда чинно текли они стареющими ликами, бархатными клубуками и огнями.

Так одна за другой протекли, а красавица, сжавшая четки, уронила головку с золотой прядью волос, не утаенной вуалью, как ниспадала вуаль, омывая ей плечо.

Это розовоустая, молодая игуменья с дрогнувшими ноздрями, четками шелестя, преклонилась, и темный дым, сваянный до полу с клубука, и большой, цепной крест, и серебряная головка у личника сжатого посоха – все замирало призывом в ней, мольбой.

Я ль, замерзая в снеговом атласе, Светлый Спасе, Тебя не ищу, лобзая, —
Спасе мой?

Я ль, попирая землю, свещу в метель не подьему, Светлый Спасе, —
Спасе мой?

Когда из голубых заиконостасных пространств удивленно взлетела золотая десница диакона, бряцающая кадиллом, монашки клонились, вздыхали, замирали.

Когда ветер обнимал серебряным кружевом красный домик игуменьи, домик сквозил на метели розовыми пятнами.

Когда свеивал ветер свои белые ткани, обнаженный домик игуменьи краснел меж сугробов; но ветер опять его обнимал кружевами своими.

Когда окончилась служба, с красной связкой цветов парчовой иерей выбежал из алтаря. Когда окончилась служба, монашка переплетала свой бархатный клубочок сырыми, тепличными розами.

Когда окончилась служба, ясноочитые юницы в огне цветов смеялись друг другу хрустальным смехом.

В решетчатых окнах храма сквозной омофор снеговой парчою царапал окна.

Дух озарил мать-игуменью, и она изогнулась атласным станом, а ее точеные пальцы в стрекотанье пляшущих четок плеснули черной волной муаровой мантии, точно засвиставшими в небо крыльями: так она замирала, испивая восторг; из-под шелковых ресниц жадно горели ее глаза, жадно; руками точно терзала и яркие гроздьи роз, и цепной свой крест на упругой груди, а зов с полуоткрытых слетал ее губ, нежно-алых и сладких.

Вот сестры, зовом ее пленясь, как дикие большие стрижи, пред полетом устало махнувшие крыльями, сестренка с сестренкой, в пляс пошли в мертвых ризах, в розах ярых; а из-под вострого клубука, из-под темных и низких платов, к губам прижимая росистые горсти цветов, в цветы усмежалась игуменья-матушка и лобзала их страстно, несчетно.

Юницы чистые, отроковицы сладчайшие,
ах,

поднимайте росистые, сочные чаши,
цветочные!

– «Мы страа-аа-ждеем... Мы жаа-аааа-...

«Дуу-уу-ша ии-стаа-мии-лаась в раа-злуу-уу-кее...»

Ах, цветы, виссон, поклоны – и ты:

ты звон колокольный! Им вольно —
им от радости больно, так больно!

– «Мы страа-аа-ждем

«Мы жаа-аааа...»

В открытых дверях храма с синего, с синего простора на паперть низринул ясный облак.
Нежно кропил он прохладой снега и алмазным цветом пляшущих сестер.

Хрупкими, хладными снегами, будто мягкими бархатами, устлали паперть его белые, как
цветы, опадающие руки.

Сестра была седа: она бросила глаза в потолок. Бледными бельмами, точно яичной скор-
лупой, уставилась в купол.

Другая, юница, крутась, насупила брови.

Жутко было видеть скачку клобуков, паруса надутых риз в озаренном храме.

Это была духовая пляска.

Не меня ль, не меня ли вы отгадали теперь?

Открою дверь.

Милые сестрицы, вздыхаю вдали не я ль?

В открытых царских вратах с матово-светлого стекла на всех уставился ясноочитый лик.
Кротко ясел он синевою глаз и спелым колосом бородки среди богомольных выкриканий.

Красными своими тканями, будто языками огней, раскидались над сестрами его перло-
вые руки.

Это была икона.

Вьюга изогнулась над оконцами, к ним прильнула: «Я – воздушная, бархатная.

«Я – холодная, вся сквозная».

Отлетела, и в оконцах заяснила голубая пустота.

За руки возьмитесь, друг друга любите сегодня: уймитесь напасти и муки, уймитесь вол-
нения: – страсти

Господни.

Чем безвластней, безумней пьяные духом сестры летали в пляске, тем жаднее к яствам
они склонялись – и внучатый иерей, и сутулые старицы, и красавицы, юницы, отроковицы,
вдовы черные, белоликие, розовоустые; друг другу они потир¹³ подносили, потир света, раз-
мыкали венчики уст и глотали вино.

И желтое вино, закипавшая цветень, пошипывало в чашах и опеняло им края.

Игуменя над каждой склонялась сквозным ликом, сотканном из воздуха, и щербатая
старица, ютясь у ее ног, мочила в вине свои горькие розы, осыпала ей руки сырым пурпуром,

¹³ *Потир* – богослужебный сосуд в виде чаши, в котором во время литургии находятся Святые Дары.

увядшими лобзала губами ее пальцы, черный лукавый шелк у нее терзала на груди, чашу вина подала ей, с рыданием; и когда красавица в смехе пригубила чашу, алмазный цветник распыленных роз, на мгновенья взвешенных в воздухе, оборвался дождем лучей.

Вскипела пурга. Перловый лик в благолепном пламени риз метнулся из алтаря: кусок матового стекла, захрустев, вылетел из окна, прозвенел и разбился.

Это под вьюгой разлетелось вдребезги окно.

И тогда, погасив огни, он прошел из окна с мягкой, мягкой пургой, опадающей звездами, схватил ее стан, и она уронила головку в бурно брызнувшем снеге.

– «Мы жаа-аа-ждеем... Мы страааа-аааа-...»

«Рааа-баа

– твоо-его...

– идеже неесть-

– болезни и печали... воздыхав-...»

– «Аа ии-стаа-мии-лаась

– в раа-злуу-уу-кее».

Мертвец

Одежды спадали со странника, точно дней кружевные метели; и он лукаво их отрясал, восходя над смертью, когда, плотничая для старца, хохотал над земным своим делом безумно, все безумнее – стружки срезал рубанком:

с него, над ним, вокруг него гробовая его пелена, взмываясь в прошлое свиставшими лопастями, взмывалась; на прошлое оборачивался сверкучей от снега скуфейкой с рубанком, шипевшим стружками на бревне, – ах, да нет:

то не была его запорошенная скуфейка: то алмазная митра святителя полевого в огнях, зацветавших и отгоравших;

это его ледяные руки в дни опускались, дни срезали – и дни завивались.

И не саван лопастью за плечами у него был: то безвременье у него замывалось с плеч туманными пятнами времен и сроков.

И не стружки срезал его рубанок – нет, и нет: вьюга срезала сугробы, и сугроб, нитью мух золотых в небо воздушно рос – летел над окошком игуменьи кружевным фонтаном, белопенным в свисте, в блеске, в хохоте.

Желтые стружки падали в рыхлый снег.

Скуфейка торчала в ясной зорюшке.

Из-за кустов выглянуло смеющееся личико какой-то монашки, влюбленной в скуфейника, и сразу пряталось, когда обращал на нее лик, полный укоризны.

То монашка вышла за обитель, где красовался странник, как легковьюнный столбик метельный.

Все, что снежилось в душе его, укрылось до времени.

Видела – плотничает на морозце в белом подряснике, в желтых лапотках, – весь сквозной, ясноокий.

Увидел монашку. Легким движением воткнул в бревно звонкопевший топор.

Из снежной щели рвалась ледяная дорожка ручья застывшей, лазурной струной.

Сыпался снег, точно цвет миндальный, и не мог просыпаться.

Среди снега шла дорожка золотых, протоптанных следов.

Оттуда пришли слепцы.

Грустно вздыхая, коснулся их зрака. Стал молча водить по лицам мягкими варешками.

Вспыхнул сам. Вспыхнули ослепленные лица.

Прозрели. Увидели свет.

Как из оболочка дней, так из оболочка метелей он теперь выплывал ясноочитый, сквозной, как месяц из тучки, как душа из времени, как ангел из бури своих перьев.

Ясновзорная монашка выбежала к нему, плеснула руками, припала персиковыми устами пить снежок с его желтой лапотки.

Странник, странно усмехаясь, погрозил ей перстом: «Тебе бы все возиться со мной, да мне недосуг: плотничать надо».

«Ааа...»

И пристыженная монашка текла в обитель куковать псалом.

Снежная струйка взвилась. Холодком плеснула монашке в лицо. В ноги упала.

Еще. И еще.

Протянул за ней странник руку.

Снежной лилией рука пронеслась. Другая рука снежком в поле плеснула.

Еще. И еще.

Мимо монашки пролетела большая воздушная скатерть. Мимо он пролетел большой воздушной скатертью.

Старец нагнал монашку: «Вечерком не ходи ты сюда. Послушник мой не в своем уме. «Думает, что снежит».

Назад от монашки побежал черной, сутулой спиной. Низко над бревном согнулся белый, стругающий скуфейник.

Проходя в келью, он все думал о том, что он, он, восставший из мертвых, совлечет с мира пурговые ризы и мир прейдет той же пургою, что клокочет так звонко под голубым, бледно-зияющим серпом;

и его хрустальные, до ужаса прозрачные руки распахнули дверь, когда старец оттуда заклокотал на него: «Что ты, во сне? Я и ты – мы живые: ничего такого не было и не будет».

Но он улыбался змеиной мудрости своего старого друга.

Так он – сквозной мертвец – стоял с ясной, как серп месяца, бородкой, занесенной в вечеряющую синь, и его пальцы, будто примерзшие к двери, хрустали ее ледком.

Монашка, смятенная странником, перебежала от кельи к келье.

Слышалось жужжанье удивленных стариц, жужжанье многих веретен, которое началось и не могло кончиться: по дворику пробежала благолепная старушка, оставляя за собой воскресный ветерок псалма.

Слышалось благолепное кукование псалмов ясновзорных монашек, благовещавших и в кельях, и на снегу: и юницы клира благоухали молитвенным свечением.

Приходила ночь, и говорил старик, забывая дневную строгость: «Пора домой мертвцам».

Лукаво они, серебряные, сквозные, текли по снежку к могиле, открывали гробницу и подоблачным ходом опускались в прелестную старину, потому что снежное поле было полем большого облака, пролетающего по тверди.

Вокруг них струились своды, и они по каким-то туманным уступам выходили к пробоине, глядящей в свистучую страну эфиров.

Они бежали под месяцем вниз по сквозным, кисейным мостам, и тени их, на пробегающем под ноги облаке, как летучие, черные иноки, стрижами неслись вместе с ними.

Бесстыдным блеском хрустальные крылья небесных летунов сквозили вдали, вдали, как пронсящий рой стрекоз, под звездной киноией звеневший – всем, всем: и печалью мира, и летучим ужасом, и грустью, и слезинками изошедшей в мире сестры, и зовом жен; и они едва успевали понимать: «Ааа... Ааа...» И проносилось новое.

Вот два сверкающих инока, в беге перерезавшие небо, кричали, ужасаясь восторгом: «Ааа... Ааа...», но выходило: «Свят, Свят, Свят».

Утром, не вспоминая ночи, старец молился, и плотничал странник.

Верхом на месяце

«Милый, дай счастье... дай».

Игуменья на заре приложила дивное личико к безвестной могилке.

Теплые ее руки пали на грудь нагую плиты гробовой, и трепетали чуть приподнятые чаши из-под свистом взволнованного ее атласа, откуда серебряный крест холодно звонил по голым плитам.

Когда охватила гробницы стан морозный, тяжелый, духом она ниспадала в далекое прошлое, в фарфоровый шепот цветов над могилой, и разбрызганные снега оголяли льдом окованный каменный гроб; в охрусталенных плитах отразилось дивное ее, дивное личико с дрогнувшими ноздрями, омытое черной волной, из-под клобука бежавших шелковых платов ее.

Многокрестное кладбище, терзаемое порывом, страстным гласом стенало, в любовной ширило попытке свои огневые, фонарные очи, то янтарные, то малиновые, лопастью пурги свеиваясь в утро, точно в час брачный фата кокетливой невесты, сорванная женихом, – потрясало, тянулось венчанными руками своими – десятками крестов – к нему, к ветру, фарфоровые лепестки, дзинькая, опали на плиты.

Ветер лукаво вопрошал, а красавица отвечала дрожью, а старинное кладбище, властно мерцающая, обращало к ветру янтарные взоры; а венки фарфоровым били трезвоном.

И безвестная серая женщина, искони попирая гробницу, каменным порывом точно безвластно кидалась в метель; ветер охватил изваянный стан сквозными своими метелями, струйно терзал мраморный стан и тяжелую грудь, устами суровых ее касался, гранитных уст; в разделенные складки ее одежд бил он бурно, бесстыдно, властно.

Одной рукой

сумасшедшая игуменья сорвала плиту гробовую;

другой она рукой

охватила крест, прильнув к нему малиновой от лампадного блеска головкой, —
припала, припала —

с языками, точно черных огней, лизавшего крест мантийного шелка, словно омываемого ветром с ее четко обрисованных ног и бедер.

Синее, милое во гробе лицо пеленали снежные саваны – синее, милое, с ночным бархатом ресниц.

Изогнулась, свистнула шелком ее белая из-под мантии ножка, приподнятая над гробной лазурью.

Милого не было там: белый серп там глубоко, глубоко зиял, в голубом колодце истомы, и едва-едва светили там звезды.

Прелестию звала гробовая лазурь, указала свою необъятность, – показала то, что никому не показывают, и черная красавица, подобрав рясу, – скок да скок туда белыми ножками: оборвалась с вверх взметенными одеждами – туда, туда: там канула, словно черная роза в голубом колодце.

Когда стремительно она низринулась, как упругий, в стремнину брошенный, черный дротик, как завизжавший стриж, разметнувший упругие крылья, – мимо оболочка, мимо – к звездам, к обтаявшим лазурью рогам щербатого месяца; когда оседлала серп своими горячими,

белыми ножками и вверх метнувшиеся шелка с длинным, как змей, шушукавшим, черным ее мантийным хвостом, – длинные ризы извивались вправо и влево;

когда месяц вправо и влево взрезал своим выпуклым лезвием прохлады иссиня-синих воздушных и, мча ее, – ниспадал, ниспадал;

когда грудкой склонилась она к нежно-белому, насмешливо дребезжащему рогу и он испарывал грудку терпким, диким, давно запевавшим восторгом: —

тогда все в ней взывало в гробных лазурях, все – и она, и звезды, взиравшие на нее долгими взорами, как и встарь, и лобызавшая ее синь дорогими, воздушными, где-то уж процелованными устами;

тогда белая, мертвая ее головка с алой, закушенной острыми зубами губкой, и рыжий пламень из-под платов распущенных кос, и стрекотавшие по воздуху четки, как звонкая плетка, награждавшая ударами странного, насмешливого коня, дивную прелесть сердце сжимало; тогда изгибы ее атласного стана, и черные чулочки в красных подвязках, и над чулочками молочный цвет колдуньиной ножки, и бархатный клубок, как темный рог, уставленный вперед, и злой, сладострастный ее взор из-под дугой сошедшихся бровок – все, все старыми чарами сожигало, старинными.

Но хладные рога месяца завернулись вокруг ее ног – не рога: чьи-то цепкие руки тащили ее в прошлое; и не она летела, а ее увлекала оседланная ей спина: вот из-за спины поднялась большая, как бы оскаленная на любовь ее, как бы стеклянная голова в венце серебро-белых седин и смотрела на нее долгими взорами. То время уставилось на нее – голый старик, скачущий по поднебесью: «Сошла к нам за милым, а меня повстречала: лечу, лети, летим – лелей с летей – лелейские».

Нежно взирали пустые небеса, нежно. И зов слетал с ее уст призывный, стенающий:

«Я страа-аа-

«ждуу...

«дуу-уу-ша

«ии-

«стаа-миилаась в разлу-уу-

«кее...»

Под скачущей парой белые клубы залетных, лелейских тучек. И время тащило ее сквозь них, и ее ухватили холодный, белопуховый войлок, ее пальцы; и подоблачный низ метнул громкую молнию в серебро-белого старика, и он с опаленным, черно-лиловым лицом покатился вниз.

Так колдунья осталась на облаке черной, воздушной тенью, и уже вверх она скользила, точно влекомая в лазурный пролет надо всем свисающего облака, откуда низринулась, обезумев от воспоминаний, – тень скользила.

И она была тенью снегооблачного мужа.

Вот поднялся снегооблачный муж, как воздушный иерей в алмазной митре, изогнувшись слепительным станом, а хладные его пальцы в стрекотанье блещущих лучей мерно и плавно несли месячный осколок, как осколок чаши алмазной, поливающей свет.

Он испивал старинный старины напиток к нам взывающего томления, и в голубой пролет надо всем свисающего облака тем же он взирал глубоким томлением, что, как любовь, зовет все неумолчней, – и зовет-то, и плачет-то, ластится и раскачивает детскую колыбель души сиротинки, похищенной временем.

Другой он рукой долу опустил перловый трезубец, лучащий в низины острый ток молний. За ним влеклась его тень, словно клубуком опрокинутая игуменья.

Вот он встал над облачным пролетом; – вот, смотрите, он встал: испив, пустил от себя осколок чаши хрустальной, в высокую улетевший вышину утренним месяцем.

Вот стоял он над гробною лазурью: – вот стоял он, а его тень лежала в четырехугольной ее пролете, словно в иссиня-синем гробу, запорошенная дымом, будто снежком.

«Уй-мии-тее-сь

«волнее-нии-яя страа-ааа...

«Ааах».

Игуменя проснулась на чьей-то безвестной, ледком охрусталенной могилке.

Утренний серп в небе свисал лепестком изогнутой лилии, едва приметной, белой.

Ясноочитый стоял скуфейник над упавшей игуменьей.

Клонился и ей говорил: «Опомнись, родная: ведь могила пуста».

Ветряной напор взвил его одеяние кисейными лепестками.

Ее он поднял, ей улыбнулся и оправил огонек лампадки.

Завизжали красные фонарики, охваченные ветром.

Многокрестное кладбище, терзаемое порывом, страстным гласом стенало, в любовной ширило попытке свои огневые янтарные очи; потрясало, тянулось венчанными руками своими – десятками крестов – к нему, к ветру – рыдало: фарфоровые лепестки, дзинькая, опадали на плиты.

Вспомнила!

Вьюга вздохнула безответно, и она вспомнила шелест скрипок в театре, где шлейфом когда-то разметала забудки, где упивались ей, восхищались, дышали; где милый ей улыбался и звал, как и в детские годы, куда-то.

Но строгий скуфейник, стоявший над ней, тронул ее, и они пошли прочь от воспомина-ний.

Там махали ветками снежных ландышей: там облегченно упивались простором.

Там был лет снежной пены, разбрызганный в пространствах и размешанный с сумраком. Весь день они пробродили в полях.

Она шла рядом со странником, потупясь, и черная вуаль вихрилась за клобуком.

Она робко вскидывала глаза, будто исповедуясь; «Я ушла от мира: я любила – но любила сон – не его».

И странник склонился золотою бородкой: ветряной напор стал рвать его кудри; матовый лик улыбнулся бархатной улыбкой, чуть-чуть страшной: «Нет, его ты любила!»

Бледный стоял, чуть прищуренный, и вьюга в душе запевала, как прежде.

Лапа метели то гладила их, то иглами, звездами, снежными перлами дико царапала.

Они подняли друг на друга синие очи, синие и покрыли их, щурясь, черным шелком ресниц, грустные, не узнавая ДРУГ друга.

Поднялся серый мундир, и сквозное, глянцевитое лицо в ореоле лиственных седин, впе-ренное в мать-игуменью, запело, как и не раз ей певало:

«Как хоо-чии-тся мне вее-риить ии люю-биить!»

Но глянцевитое лицо покрыл странник светлой ладонью – и увидела, что на высоком, сером столбе ветром стрекочет фонарь с жестяным, серебрящимся верхом.

Странник сказал: «Это караулит прошлое на границе дряхлого мира».

Они прошли, и ей вслед верещал стеклянный фонарь на деревянной палке: «Я любил, и вот я мертв!»

Солнце подкатилось к земле и проваливалось.

И оно провалилось.

И там, где съела земля золотой его плод, красный сок стекал в небо.

Они стали на сером гольше, с которого спадали воды.

Ныне подмерз водотек, и остуженные ледышки венком хрупких струнок вонзались в бар-хат сугробов с гранитного лба.

Меховым сапожком она топтала гольш, точно гигантов запрокинутый череп.

Гигантов лик скудно крысился мертвым хохотом: ветер скулил в ледяной трещине рта: «Подруга дней моих, я во сне возвращался».

Она отвернулась от прошлого с отемненным сердцем.

Метель кидалась снеговыми объятиями.

Огненно-желтый закат потухал над полями.

Она говорила, сжимая четки: «Почему у милого было светлое, светлое лицо? Он был в жизни, как странник».

И склонился: губы его разомкнулись, точно доли багряного персика, взрезанного ножом: «И я странник тоже».

Она смотрела в неземное жемчужное лицо странника и узнавала никогда не забытые черты.

«Это я шептал о воскресении, но ты меня убивала: умирал и воскрес. Это я ратоборствовал за тебя, нисходил во ад, где ты отошла от меня».

Черным стрижом она припала к светлому скуфейнику, но вейный иерей в перловой митре навизжался над ней секучим серпом пурги:

«Вззвв... вззвв... я... я...

«Мой гнев со мною...»

Рясофорная¹⁴ вопленица упала на гольш, и напал перелетный лик метели, о гольш разбился: белыми пчелами пропылился ей под воротник жужжать о невозвратном.

А вдали, вдали уходил от нее скуфейник, уронивший в варешки слезоочитый лик жемчуг соленый проливать о ней, прося и ей смерти.

Раскрывала ему вслед алый венчик рта, стряхивала в снег хрусталики стекленевших слезинок.

Протянулись метельные облачка. Уж взывал снеголетний вихорь, холодно бросив в поднебесье кромешную пургу.

¹⁴ *Рясофорная* – монастырская послушница, получившая от настоятельницы благословение носить рясу с клобуком.

Песнь из бездны

Когда ушел скуфейник, она осталась у фонаря на границе обители и дряхлого мира.
Фонарь, как вздыбившийся зверь, стеклянной пастью оскаленный на любовь ее, изрыгавший вихорь то снеговой, то стекольный (вьюга разбила его).

Это его метельные руки звериными когтями над ней летели,
за ней летели.

«Кто убежит от меня? Нет, никто...»

В страхе бежала от него, в сугроб падала, опять вставала.

И гнал за ней рев звериный, старинный.

Все тот же.

Волновалась обитель.

В те дни странник уходит за гребень многохолмный, будто нырнул в метельный океан.

Ароматные куренья струились, и косые лучи солнца, дробимые дымом, жутко плескались над клобуками монахинь в храме, точно далекие лучи благовестия над сиротливыми во пленницами.

Игуменья шла в келью, и крикнула, пойманная песей тенью, перерезавшей снег.

То, рыкая, просунулась звериная морда из открытого окна на нее,
скалилась на нее.

Она сказала: «Наше прошлое – тень пробежавшего зверя.

«Вместе с нами в метели тащится зверь, провожая на родину.

«На родину».

Это был лающий пес, кровавою пастью оскаленный на жену, облеченную в шелк, прежде бродивший в полях, а теперь забежавший вдоль обители.

Это его косматая морда появлялась то здесь, то там.

Иногда он вилял хвостом: «Кто накормит меня? Нет, никто...»

В страхе его обходила игуменья, а монашки его кормили хлебом.

И рыскал по обители пес косматый, старый, из пространств прибежавший.

Метель взвилась, и рявкнул пес, запушенный снегом. Провалился в снег.

Метель запевала: «Я метель – улетающая жизнь.

«Вот, как белая птица, взмываюсь я морем холодных перьев.

«Я над вами плыву, неизменная, – на родину...

«На неизвестную родину».

В стране бриллиантов

Мертвые мертвецы горбились на открытой могиле. Старец и странник с риз струили ткани метелей.

Охрусталенная крышка гроба лежала у их ног, и в гробной лазури зацветали и отгорали созвездья. Охрусталенные лица клонили в гробную лазурь, где облака то пробегали, то набегали.

Глаза странника то грустили, то радовались небытием, и он говорил свирельным голосом: «Здесь супруга моя и грустит, и томится; и Господь разрешит ее взять».

Высунулся из гроба многокрылый муж: «Кто вопрошает Господа Бога?» Высунулся из пролета лазури белый Ангел: «Кто не видал облак Славы?» Старец побежал в гробовой ход: «Ну, конечно, сегодня ночью Он проплывает здесь». Странник побежал в белооблачный ход: «Ну, конечно, Господь разрешит вознести ее».

Синий эфир нежно поцеловал и бросил в них горсть бриллиантовых молний.

Белый храм громко проплывал, и громовые рати старцев из туч блистали мечами. И стаи брызнувших копий ослепительно прядали в ночи темь из таинственного облака. И громы гремящих полчищ оглушительно гремели медью труб из плавучей обители.

Лучезарные, они молились на облачном выступе.

Бриллиантовые насекомые над ними кружились из-за звякнувшей кадиланицы.

Осыпанные жужжащим блеском искр, они то прославляли Господа, то просили об успешии утомленной игуменьи.

Перловый гремящий лик то показывался венцом из-за дымного алтаря, то из дымов взлетала десница с кадилом.

Бриллиантовые жужелицы, струей искр змеясь, взлетали и, змеясь, рассыпались в волосах.

Перловый старик встал и вопрошал: «Кто там зовет меня?» Молодой мертвец упал и вопрошал: «Кто я, чтобы видеть Тебя?»

Перловый старик шепотом возвестил: «Да будет тебе по желанию твоему!»

Громовый рев все огласил: «Да исполнится воля Твоя!»

Облак проплывал и бросал в тень горсти зарниц.

Бледный день наплывал и гасил горсти созвездий.

И стаи брызнувших стрекоз ослепительной тучкой в пространствах летели в бледнеющей сини ночи: то стаи далеких ангелов испуганным отрядом с уступов тучи слетали в загоревшейся ясной заре.

Третья метельная ектения

Мертвец пришел в обитель.

Яро проблистал его лик белогромным светом.

Яро просвистал снежок из-под ног миндальным цветом. Яро прозвучал его крик:

«Синева Господня победила время».

К косящатому окну красавица прильнула, молясь на любимого. Свою весну красавица встречала, молясь на любимого.

Руки на груди, томясь, рвали четки. Руки на груди сложил, томясь, он, любимый, кроткий.

«Синева Господня победила время!»

Вдруг страстно пробила оконце; она пробила золотой воздух красным током цветов над ясноочитым скуфейником.

Вверх страстно уносила под солнце вьюга, уносила в снеговой воздух белый ток цветов над ясноочитой игуменьей.

Попадали к ногам его красные цветики. Запрядали мимо личика ее белые лепестки.

«Синева Господня победила время!»

Ты пришел – неотцветный цвет, ты облекся кружевом снежных риз: глаза твои – метель, просквозившая небом.

Тебя родила метель: дай нам метель, дай, дай, дай нам метель белую, метель ревучую, метель – летучую метель, свистучую, ибо ты из вьюги вышел.

Вьюге помолимся!

Здравствуй, здравствуй, белая пчела, из метельного улея летящая к нам о счастье жужжать, сладкий мед от сот, от сердец собирать.

Ты, счастье, белый, медовый, восковой!

Гласом пчелиным нам обедню прожужжи!

Ты нас помилуй!

Бледно-мраморный лик рясофорной красавицы с четками в руках выросал всюду за скуфейником. Громкий радостный крик метели-плясавицы в оснеженных полях выросал гласом свирепым над ельником.

Метель протягивала всем в обители свои белые объятия, белой солью впивалась им в очи, будя печали; распадалась птицами, ложилась под его ноги.

Игуменья протягивала ему свои объятия, жгучей болью впивалась очами из-под вуали, темной, как темень ночи. Но он закрывал глаза ресницами, желанный и строгий.

Когда он проходил мимо нее, она прыгнула к нему, точно черная колдунья с гвоздикой в руках. Когда небосклон озарила солнечная змея, метель прыгнула, вознесла свою тьму дико, дико, точно рясофорная летунья в далеких полях.

Губы странника немели чуть видно сладостью, но скрыл лицо в нее обращенными ладонями, защищаясь от гвоздик.

Трубы метели гремели громовой радостью, и солнечное кольцо укрыло свой пыл.

О пчеле пчела, о душе душа, о заре заря – жужжат, пекутся, ясняются.

Пчелы, пчелы:

ныне вы – пчелы.

Вы пчелиного царя в улей ведите.
Роитесь, роитесь: скоро вылетит белый царь на крыльях золотых из улья с жужжаньем.
За ним, братия пчелиная, летайте, на брань с осами летайте, языками-жалами мерцайте
в душах темных.

Вот с вами ваш – с зарей заря, с душой душа, с пчелой пчела.
Приди к нам, пчела наша!

В келье игуменя раздевалась. Под окном метель шепталась.
Шелестел белый снеговой челн, уплывая в солнечный град вдоль снеговых волн; уплывал
он туда, – где горящий круг.

Шелест черных шелковых волн – водопад ниспадающих ряс, возникал от пляски ее обна-
женных рук.

В келье игуменя раздевалась. Под окном метель шепталась.

Красная лампадочка озаряла клубочок, оплетенный цветами, сквозной батист, окурив-
ший ее знойную грудь. Вьюжная пляска заметелила обитель своими шелками.

Игуменя расплела шелковые ткани кудрей, одела серебристый клубок, обвила себя атла-
сом лилейным, собираясь к нему на встречу.

Буря мела пурговые ткани; в серебре рыданий ее восходил лучистый круг. Звала гласом
вейным: «Люблю тебя, почему – не отвечу?»

В тебе, снег – поцелуй, в тебе – ветряный смех – любовные речи.

Блеском, свистом, пляской, ризой кружевной – ризой на нас нисходишь.

Снеговым причастием, белым хладным огнем – провей, одари.

И пропоют снеговые псалмы на метельной обедне.

Вьюге помолимся.

Пурпур сердец вином снежным вскипает, приступите.

Причащайтесь пене снежной, пену белую вкусите.

Пеной белой, кружевной, облакайтесь: – лики ваши – снега, губы ваши – пурпур, ваши
очи – небо.

Снеги к снегам, небо к небу, зори к зорям!

Се, над вами серебряный венец метелей – се, над вами брачный венец.

Вьюге помолимся.

Встреча

Над обителью раздавался свист ветерка и грустно-знакомый выюжный шелест.
И в бледную, бледную бирюзу ушли снежные рясы. Показался силуэт игуменьи с золотой свечой, и вот она, белая невеста, пошла в ледяные поля на призывный звон выюги.
Над ее головою потрескивала зубчатая корона огня.
С вознесенной в руках свечой она пала под сквозным золотом солнечных листьев:
«Довольно: —
«нам вольно: нам от радости больно.
«К нам, ах, к нам ты спешишь, в лучах тая.
«Во снеговых полях, Жемчуговых эта тишь золотая».

И в бледную, бледную бирюзу он шел пламеносным ликом. И в бледную, бледную бирюзу метель рвалась вихреносным криком. И в бледную, бледную бирюзу он шел пламеносным ликом.

Он... Нет, не он.

В ледяной, столбный фонарь било солнце, и он обратил в монастырь взгляд стеклянный. Вихряной столб, как и встарь, метель взвила, и он закрутил свою пыль, осиянный.

И в бледную, бледную бирюзу волна метельного цвета продышала хлопьями пуха.
Как большой одуванчик, взошла метель, изорванная предвесенним деньком.
Игуменья начертала в полях пламеносного змея искряным зубцом свечи.
Змей пополз: это дорожкой колких пчелок ползли на обитель предтекущие светоносны.
Сияющими жалами текли братья света.

В отдалении несли золотой гроб с мертвецом. Белая, атласная красавица, вся в пурпуровом цвете, стояла с иконой в руках.

Протянула гробу икону и цвет.

И стал воскресший из гроба: от лица его стекало солнце.

Они коснулись друг друга бархатом глаз и будто ушли в знакомый, иссиня-синий колодезь.

Кадила рассыпали на снег красные змеи.

Червонные, святые потиры выносили в поля; и в них сверкали из-за туч яркие уголья. Но уголья прорастали цветом.

Едкий мед потиристо цвета матовой истомой овощал их лица и хор пел:

«Он не беспеременен: он уходит в безвременье – в бледную, бледную бирюзу.

«У него есть крылья скрываться от нас.

«Но это не значит, что он не с нами.

«Он встает среди нас: метельной струей бьет в лазурный кубок.

«Когда переполнится кубок метелей, он опрокидывается на нас снегом.

«Возвращается... возвращается».

Игуменья вела странника в алтарь, а сама стала у входа.

«Ты гряди, иерей, из блистанья сотканный, жених, из свещного действия в полях рожденный.

«Ты, жених, гряди из далекой страны загробной облекать меня любовью и солнцем.

«Твои ризы из пенных блистаний, и омоюсь блеском.

«Твоим, иерей, твоим блеском!

«Мы возьмем колосья блистаний, перевьем стан наш колосом, колосом, солнечным колосом!

«Колосись в души наши!

«Ибо мы – твои, твои мы нивы: нивы, нивы, созревшие нивы!

«Твои, жнец, нивы».

Змей повержен

Под амвоном волновалось море клубуков.
Она стояла с благовонным мирром.
Вырос силуэт-иерей с просветленным, жемчужным лицом. Солнечные кудри и чуть двоящаяся улыбка светились на вечерней заре.
«Милый, опять ты, опять!»
Это был он, ее смутный сон.
Он стоял, точно сотканный из воздуха.
Высоко вздымалась его взволнованная грудь.
У ног его замирали, осыпанные, будто угольями, святыми пчелами кадила.
Две пчелы запутались в волосах солнечной жены, когда над ней подъял свои руки и голосом, вздоху подобным, призывно звал от времени:
«Довольно:
«Скоро все облетит – пролетит.
«Времена засохли, шелестят, как свиток.
«Времена, как и свиток, свиваются.
«Пора,
«потому что все пролетит, и мы будем вместе.
«Потому что вот пришел взывать воскресший о воскресении!»
Она
Ты, иерей, – парчовый цвет, весь, как из снега!
Он
Ты, жена, невеста – лебедь моя.
Они
Мы под куполом, опрокинутым над нами.
Белым орарем оплел ее стан, и заревел хор с клироса, призывая к ектений:
«Вьюге помолимся!»

Двери храма разорвались. Там наплывал епископ в горящих ризах, как большой красный дракон.

На бледной, бледной бирюзе храмовой живописи за ним тянулись свещные огоньки, точно гребни чешуи золотых ползучего гада.

За ним повалили черные толпы хмурых монахов, издавна враждовавших с обителью.

Кучка верных монахинь, молясь у амвона, горящими свечами заграждая дракону путь, чертила на нем свещные знаки крестов, и свечи, как мечи, яро лизали воз-Дух.

Красные горсти шмелей, световым роем молитвенных заклинаний, садились жалами в темную толпу.

Забряцавшие оболочками золотые кадила, словно белыми кольцами, охватили епископа, и в бирюзовый пролет сверкала его митра.

Исполненная духом, жена вышла на амвон и глядела в жуть воздушной стремнины, то задернутой дымом, то зиявшей, точно щучья морда уставилась на нее, венчанная златом, – и вот змей посохом ей проблистал.

Точно жало молнии резнуло кадильное облако – и вот она узнала того, кого убила духом.

Время – епископ, ризы влекущие в храм, – шло на амвон, где она вознеслась над ним.

Она стояла над епископом с крестом и с пурпуровым цветом.

Иерея из алтаря вызывала, кадилные оболочки в венценосного змея метала.
Оболочки – молитвы, рожденные духом, белыми камнями полетели в старину.
И дробились сияющей митрой.

Крест в руке блиставший сжимала, блески крестом метала.

Старый епископ изогнулся.

Провалился храм, грохотавший народом, когда белые, кадилные облака загородили к амвону путь.

Старик поплыл вверх по ступеням, словно меж дымовых куполов, то ныряя, то выплывая митрой.

Над ним повисло облако кадила, и он посохом, как молоньей, его изорвал.

И когда золотой змей вползал на амвон, из царских врат показался иерей, точно сотканный из воздуха.

Он стоял с разведенными руками в сквозном золоте ладанных туч.

Его голова, вперед упавшая из-за плеч жены, световой круг над лицом, в руках дикирия страшный свет и змею грозящая десница – пятном бурного света пролились над женой.

Все под оболочка громыхало, черной ратью вставало.

И рек чудотворный странник жене, указуя дикирием на то же, все на то же;

«Гад к нам ползет. На нас воздвигается, просится: пора оковать твою, жена, чистоту змеиным кольцом возврата.

«Ты была окована землей. Ныне ты верна небу.

«Пора нам испытать любви, поразить змея, уйти в солнечную обитель».

И уста дракона разорвались темным воплем.

Брызнул жезлом и разодрал на жене ризу.

Он видел – солнце, облечейное блеском, тихо из-за оболочка опрокинулось над ним, и светоносный, осьмиконечный луч креста резнул пространство.

То не солнце – жена, обтекающая светом и оболочком, яро над ним замахнулась крестом.

Из сумеречной бирюзы пред ней стояло прошедшее в митре, словно золотое насекомое.

Ризы на нем висели, как сухие перепонки.

Когда крест на митру упал, окровавился хрустнувший череп.

Когда глухо рухнуло тело, корчась змеиными кольцами, митра покатила золотым колесом.

Когда повергся дракон, кучка монахинь возопила гласом велиим: «Жена сокрушила главу змею».

Только снег, только ветер!

Вскипела пурга.

Перловый лик в благолепном пламени риз метнулся из алтаря: кусок матового стекла, захрустев, вылетел из окна, прозвенел и разбился.

Милое, милое небо сияло – милая, милая гробная лазурь.

Белый серп глубоко так звал в голубых океанах истомы, и едва, едва мерцали там звезды.

И их ризы струились метелями, когда туда они устремились.

Серебряными своими клобуками лукаво из волн бело-пурговых всплывали, как дети; как дети, безумно хохотали, безумно, восходя, —

выше, выше —

прошли за ними, под ними, вокруг них муаром снежились свиставшие мантии, будто лепестки закачавшихся в воздухе лилий, окуривающих белым дымом, свистом, блеском, ароматом предвесенним.

Выше, выше —

прошли: из-под облака риз, как из оболочка дней, опрокинулись в прошлое – вот указал ей лазури глубокой истомы в воздухе, склонился над ней у этих колодцев,

склонился сверкающей шапкой и всем своим телом сквозным, проблистав ей в лицо миллиардами алмазов, застывших алмазов, океанами слезинок, взметенных пургой.

Устами, жгучими, как слезинки, уст ее мертвеющих коснулся.

Ах, да нет:

то не была мать-игуменья: то его родная сестра, его грустная деточка, струившая в подоблачную старину снежные хлопья.

Слезы, слезы – ее слезы: слезы деточки, павшей в снежную колыбельку,

слезы радости, —

ей наполнили колыбель: хлынули чистыми хрустальями над трезвоном ревевшей обителью.

Изогнулась слепительным станом в закипевшем пеною море, а хладные ее пальцы – края перистой тучки – в сверканьи лучей оборвали с неба хрустальный осколок месяца.

И из этой чаши он испил ее любовь.

Они испивали старинный, старинный напиток к нам взывающего томления с пургой, нам в грудь дохнувшей любви, запевавшей о том же, —

как и встарь —

испивали, будто ту же метель и все тот же месяц —

и их знакомые до ужаса, будто с детства снящиеся лица, будто той же взметанные вьюгой, и той же вскипевшей пеной – эти лица клонились к смертной разгадке, воздвигающей и метель, и месяц, и воздушную отныне и до века киновию.

Красный храм и красные стены обители вдали, вдали облеченные блеском, сверкали там под оболочком,

То не обитель: старое, красное солнце, обреченное смерти, уплыло в облака, сверкало и уплывало.

И не оно – образ мира – ускользало из-под их ног, – не оно: нет, они, что уплывали метельной, разбрызганной пеной.

Что-то ей запевало: «Я умчу тебя в поднебесную высоту; ты проснулась теперь и ты знаешь.

«Вспомни, ах, вспомни: это я, это я.

«Я – ветер!»

И ветер нес ее будто сившимся где-то образом, будто ее полюбившим странником, будто старинным, старинным в бескрайнюю высь улетающим томлением.

И она была – только снег, только снег.

Ветер пролетел; снегом она взметнулась, и они вознеслись пургой.

Чудо

Белый рукав поднимался вдоль стены. А за ним вырастал уж другой.
Белый рукав, сочась над могилой, неизменно вырастал. Лизал гробовую плиту.
И ускользал.
Над гробами надулись белые паруса.
Над гробами летели воздушные корабли.
Белокрылые летуны уносились сквозь время... на родину.
На неизвестную родину.

Безвластно истаяли клубы ладана. Смущенно встал на ступенях споткнувшийся епископ.
И сутулые старицы, и красавицы, юницы, отроковицы, вдовы, черные, белоликие, розовоустые, собирались к царским вратам за игуменьей, за странником.

Чем тревожней пьяные духом сестры искали беглецов – и епископ, и сутулые старицы, и красавицы, юницы, отроковицы, вдовы черные, белоликие, розовоустые, тем властнее встал на амвон старец, указуя на царские врата:

«О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что осязали – о слове жизни.

«О том возвещаю вам.

«Не ищите вы мертвых: не найдете воскресших и вознесенных.

«Как ныне вознеслись они, будем и мы возноситься, потому что и мы – дети».

В открытых царских дверях с матово-светлого стекла на всех уставился ясноочитый лик. Кротко ясел он синевою глаз и спелым колосом бородки среди богомольных выкриков.

Красными своими тканями, будто языками огней, раскидались над сестрами его перловые руки.

Отныне серебряный лик склоненной жены впаялся в стекло; склонясь, проливали жена елей на его жемчужные ноги, утирала их янтарным златом волос.

Сквозной лебедь в окне там поплыл над хрустальным ледком.

А за ним пролетал и другой.

Белый лебедь, сочась снегом, взлетал, чтобы бить в стекла пурговым крылом.

Бросался в высь.

В небо бросались тучи лебедей. Белокрылые летуны уносились сквозь время.

Черные, черные старицы, чуду преклонясь рогами свещных огней, пляшущих над клубком, хвостами прошушукали вдоль амвона, и оторванные рои искр, будто красные пчелы, уползающие в фимиам, и чела их, кровью гвоздик оплетенные, и пламена восковых копий – все в них являло одно, навек одно, когда чинно текли они стареющими ликами, бархатными клубками и огнями,

Вот поднималась метель, как воздушная, белая игуменья, изогнулась атласным станом под окном, а хладные ее пальцы в стрекотанье ледяных четок плеснули серебряной волной муаровой мантии, точно засвиставшими в небо крыльями: так она тянулась к окну; из-под ее ресниц нежно взирали пустые небеса, нежно; руками точно терзала алмазы шелковых своих риз, разорванных бледными ключьями; а зов слетал с ее уст восторженным стенаньем.

Многокrestное кладбище, терзаемое порывом, страстным гласом стеноло, в любовной ширило пытке свои лампы – огневые, янтарные очи, – пурговыми лопастями свеиваясь, точно в час брачный свеивалась фата, истерзанная невестой; оно потрясало руками – десятками крестов, – к Нему тянулось старинным томлением.

Петровское. 1907 год.